Людо ван ЭКХАУТ

Это было в Дахау

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1975 году советский народ, все миролюбивые люди отмечают тридцатилетие победы над гитлеровской Германией, над фашизмом. Основную тяжесть борьбы принял на себя советский народ. Миллионы человеческих жизней, огромный материальный ущерб – вот цена этой исторической победы.

Люди не должны забывать, какая угроза нависла над миром в те тяжкие времена. Готовясь к осуществлению своих агрессивных планов, гитлеровцы заранее спланировали, разработали и привели в действие и в собственной стране, и на временно оккупированных ими территориях режим террора и устрашения, насилия и пыток, какие не были известны даже средневековой инквизиции; они создали индустрию человекоистребления и осуществили тактику «обезлюживания», покрыв захваченные ими территории сетью лагерей и тюрем.

Освенцим и Майданек, Дахау и Бухенвальд, Треблинка и Саласпилс… Эти названия, как зловещее эхо, отзываются в памяти людей.

В лагерях массового уничтожения истреблялись миллионы. В одном только лагере Освенцим уничтожено около четырех миллионов человек – граждан СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Бельгии и других стран. В лагере Майданек за один день – 3 ноября 1943 года – погибло 18400 человек.

В коммюнике Польско-Советской Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний в лагере уничтожения Майданек в городе Люблине указывается: «… Голод, непосильный труд, пытки, истязания, издевательства и убийства, сопровождавшиеся неслыханным садизмом, были поставлены на службу массовому истреблению узников лагеря».

Человечество не может, не должно забыть совершенных злодеяний.

Тридцать лет прошло со времени исторической победы над гитлеровской Германией, тридцать лет миновало и с того дня, когда главари фашистского рейха оказались на скамье подсудимых, когда они должны были перед судом народов ответить за свои чудовищные преступления.

Три десятилетия – срок немалый, но еще живы в памяти свидетелей кошмарных преступлений фашизма дни, месяцы и годы, проведенные в фашистских застенках, в лагерях смерти, – дни, месяцы и годы, оставившие неизгладимый след в жизни целого поколения. И сейчас, в наше время, живые свидетели

фашистских злодеяний продолжают говорить об опасности фашизма, о страшной сущности звериной философии человеконенавистничества.

Г. АЛЕКСАНДРОВ, Советский обвинитель, руководитель следственной части советской делегации на Нюрнбергском процессе

- Людо ван Экхаут. ЭТО БЫЛО В ДАХАУ.
  - Предисловие
  - Часть первая.
  - Часть вторая.
  - Часть третья.
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Людо ван Экхаут. ЭТО БЫЛО В ДАХАУ.

Предисловие

Вот и написана книга о Дахау. Она должна стать моим лучшим романом. Ведь Дахау – отчасти «мой» Дахау. Там осталась моя молодость. Там осталось мое здоровье. Там я дорого заплатил за то, чтобы познать самую высокую истину: все люди могут быть друзьями, независимо от вероисповедания, расы, языка, национальности.

В Дахау я получил урок, который, видимо, каждый человек получает однажды в жизни. Пришлось испытать рабство, чтобы оценить свободу. Пришлось столкнуться с варварством, чтобы познать сущность человечности. Пришлось ощутить на себе глубочайшую ненависть, чтобы взять на себя впоследствии миссию дружбы и мира.

Концентрационный лагерь изменил всех мужчин и всех женщин, попавших в него. Большинство нашли там свою смерть. Но сильные духом и телом выжили, стали крепче. Они вышли из лагеря мудрее и добрее. С твердым желанием уничтожить все границы в мире будущего, протянуть руки людям, невзирая на общественное положение, вероисповедание, язык. И с идеалами мира и братства, окрепшими в страдании.

Да, книга о Дахау должна стать моим лучшим романом.

Но эта книга не совсем роман – скорее всего, это воспоминания.

Очень странно, но об этом первом гитлеровском лагере, где недолго находился и я, мне не удалось собрать достаточно материала для большого многопланового романа.

Я написал большие романы об Освенциме, Треблинке, Маутхаузене, о Варшавском гетто, Бухенвальде и Равенсбрюке. Об этих лагерях смерти мне удалось собрать подробную историческую документацию. И по сей день ведется серьезная работа по сбору свидетельских показаний, документов и фотографий, на основе которых составляется история концентрационных лагерей. О них должны знать потомки. Ведь концлагеря были самым жестоким проявлением фашизма. Ведь там люди испытывали невыносимые страдания. Там совершались кошмарные преступления.

Я всегда искал и находил необходимый фактический материал для своих романов в ГДР, в Польше и Советском Союзе. Я ничего не нашел о Маутхаузене. Но, к счастью, я познакомился с бельгийским голландцем Йоханом Свинкелсом, у которого сохранились записи об этом лагере.

Моя книга о Дахау является неполной и ограничивается

личными воспоминаниями, за исключением нескольких глав о польском священнике и о преступлениях нацистского зверя доктора Рашера, проводившего в Дахау ужасные медицинские эксперименты, о которых сохранилась его подробная переписка с Гиммлером.

И все же мне думается, что жизнь даже одного-единственного человека в лагере заслуживает внимания. Меня не повесили, не отравили газом, не расстреляли. Я был лишь одним из номеров, одним из миллионов безымянных узников. В лагере я не совершил ничего героического. Для этого у меня не было сил. Я старался выстоять, пытался выжить. Стремление стать свидетелем возникло позже. Не в лагере. В лагере я утратил способность мыслить. Там мое поведение диктовалось инстинктом, почти животным. Вывод я сделал потом. Вывод о том, что мой долг – стать свидетелем. Правда, однажды я спас жизнь товарищу – ты помнишь, Йеф из пригорода Антверпена? – но мой выбор был не случайным: Йеф был единственным бельгийцем в нашем бараке, и я боялся потерять его.

Эта книга – воспоминания об увиденном, услышанном и пережитом одним человеком. Это репортаж о неприкрашенной повседневной жизни концлагеря. А лагерь – не тюрьма. В тюрьме заключенный может вести обособленную жизнь. У него своя камера. Ночами он может погружаться в свои сны. Он может сохранить человеческое достоинство. Концентрационный лагерь прежде всего и главным образом призван подавить человеческое достоинство.

Мне повезло, и я не сразу попал в Дахау. Мне была предоставлена возможность пройти «стажировку» сначала в антверпенской тюрьме Бегейненстраат, а затем в каторжной тюрьме Байрет. Таким образом, я постепенно переходил от плохого к худшему, а затем и к самому худшему. Но хуже всего оказалось то, что я попал в Дахау в период, когда этот страшный концлагерь стал символом невероятной, варварской жестокости.

Это случилось 1 декабря 1944 года.

Германия терпела поражение за поражением. Русские продвигались вглубь Польши, на западе союзники достигли немецкой границы. Последние резервисты призывались в немецкую армию – пятнадцати- и шестнадцатилетние подростки, пятидесяти- и шестидесятилетние мужчины, которых политические заключенные иронически называли Фау-3 – последнее секретное оружие Гитлера. Заключенных из тюрем перевозили в лагеря, чтобы они не попали в руки к русским. Таким образом, лагеря Дахау, Маутхаузен, Берген-Бельзен оказались переполненными. В Дахау узники продолжали

поступать даже накануне освобождения.

Когда я попал в Дахау, в так называемых свободных блоках – бараках с четными номерами по левую сторону лагерной аллеи – сохранялся еще некоторый порядок. Но в закрытых блоках – карантинных, или тифозных, как их называли политические заключенные, – томились тысячи узников, обреченных на смерть.

Именно там происходит действие моего романа. Там я познал ужас смерти и невероятную жестокость. Блок № 17, блок № 19, блок № 29. И лазаретный блок № 7.

Существовало только два способа выбраться из тифозных блоков. Первый способ – крематорий, и именно так большинство узников покинуло закрытые блоки Дахау, второй способ – выздороветь. Шанс: один из десяти. После выздоровления иногда – в очень редких случаях – направляли в свободный блок. Я попал в блок № 12. Но это случилось уже в конце марта 1945 года, когда и в этих блоках царил хаос.

В период моего появления в Дахау заключенные из свободных блоков регулярно направлялись на работу в различных командах. За работу им выдавали «лагерные марки» на покупки в «лавке». В лагере существовало особое здание, получившее у политических заключенных название «бордель». Я знал одну женщину, прошедшую «школу» в борделе Дахау. Она делилась со мной своими переживаниями, но я не включил ее рассказ в книгу: слишком все это было мерзко. Следует заметить, что заключенные не посещали бордель.

В свободных блоках в «лучшие времена» каждый заключенный имел свою постель. Закрытые блоки представляли собой неописуемый ад. В течение трех месяцев я не видел там ни одного эсэсовца, так как отборные гитлеровские убийцы держались на почтительном расстоянии от этих страшных тифозных бараков. Мы видели их лишь на безопасном удалении во время экзекуции, именуемой «баней».

Пособники эсэсовцев, обслуживающий персонал – в большинстве своем профессиональные уголовники или одичавшие в лагере люди – не уступали в садизме эсэсовцам. Эти головорезы были беспощадны и под конец совершенно озверели от безнаказанных и поощряемых истязаний и убийств. Сначала они совершали преступления, чтобы просто удержаться на своем месте, а потом – из низменных побуждений, желая показать свою власть и превосходство над слабыми.

Концентрационный лагерь Дахау был первым в нацистской Германии. О его открытии объявил сам Генрих Гиммлер в заявлении прессе 21 марта 1933 года. Дахау служил «образцовым лагерем», по его образу и подобию строились другие лагеря.

Образцом являлся не только сам лагерь, но и режим в нем. Самые изощренные палачи из лагерей Освенцим, Гросс-Розен, Заксенхаузен, Маутхаузен прошли школу в Дахау. Первыми узниками Дахау были немецкие коммунисты и социалисты. Затем там появились евреи. Интернациональным лагерь стал после присоединения Австрии, нападения на Чехословакию и вторжения в Польшу.

Городок Дахау находится в двадцати километрах к северо-западу от Мюнхена. Лагерь был расположен примерно в трех километрах от города и первоначально занимал территорию небольшого завода по производству боеприпасов. Впоследствии заключенные сами выстроили бараки. Тридцать бараков вытянулись в ряд по обеим сторонам широкой аллеи, обсаженной тополями. За бараками сначала был пустырь, ходить туда строго запрещалось. За пустырем большой ров, а вдоль рва – бетонная ограда с колючей проволокой под током. С западной стороны за колючей проволокой был глубокий канал. Вокруг лагеря на равном расстоянии возвышались шесть мрачных сторожевых башен, где круглосуточно несли службу эсэсовцы с пулеметами. Кроме того, имелись бункер, помещение для охраны, кухня и баня, построенные из кирпича, бордель. Два здания крематория были тоже построены из кирпича.

В настоящее время, кроме кирпичных зданий, в лагере ничего не сохранилось. Места бараков обозначены прямоугольными бетонными плитами. В помещении для охраны и в бункере размещаются сейчас американские военнослужащие, вход туда запрещен. А в здании бывшей бани, канцелярии и кухни создан музей. Крематорий северо-западнее лагеря сохранился. Однако атмосфера настоящего концентрационного лагеря здесь не чувствуется. Чтобы почувствовать эту атмосферу, надо побывать в Маутхаузене, Бреендонке и особенно в Освенциме, Майданеке и Штутово в Польше. Но самым впечатляющим является Заксенхаузен. И еще больше – Бухенвальд.

И все же Дахау – единственный лагерь в Федеративной Республике Германии, который еще сохранился.

И теперь я хочу провести вас по местам моей молодости. Антверпенская тюрьма на Бегейненстраат. Каторжная тюрьма Байрет в Германии. И Дахау.

Все это началось для меня 8 марта 1944 года.

Часть первая.
Антверпен – Бегейненстраат.

8 марта 1944 года. Четыре часа утра.

Я спал не более двух часов. Накануне состоялась премьера оперетты, либретто и музыку которой сочинил я. Кто не грешил этим в юности… Стихи я тоже писал тогда. И романтические повести для воскресных приложений «Вечерний друг» и «У камина». Как не быть романтиком в двадцать два года!

Но тогда я страшно гордился успехом своего юношеского начинания. Зал переполняла восторженная публика. Бурные аплодисменты. Меня вызывали на сцену, и я чувствовал себя смущенным и счастливым.

Да, это был счастливый вечер – последний вечер моей молодости.

После представления музыканты, актеры, хор, балерины, забыв о войне, собрались за кружкой военного пива – «свистящего пива», как мы его называли, – и рюмкой вина. В половине второго я проводил домой свою невесту. Проходными дворами, так как с половины двенадцатого был введен комендантский час.

Мы забыли о войне.

Но она о нас не забыла…

Крики на улице, удары прикладов в дверь, беготню в доме я услышал будто во сне.

Ночной кошмар превратился в действительность, когда мама в ночной рубашке открыла дверь моей комнаты. В ее голосе слышался страх.

– Вставай. Немцы. Много.

Мы знали, что это когда-нибудь случится. Я редко ночевал дома, но у нас был оборудован тайник за фальшивой деревянной стеной, оклеенной обоями, перед которой стояли ящики для цветов. Во время предыдущего обыска полевая жандармерия не нашла его. И тайной полиции, основательно обшарившей весь дом после моего ареста, так и не удалось его обнаружить. Кроме того, в доме был еще запасной выход через подвал.

Но в ту минуту я не подумал ни о тайнике, ни о подвале. Мама тем более. Послышалась брань. Удары прикладов. Сонные, еще не понимая, что происходит, мы растерянно метались по дому.

– Быстрее на чердак, в солому, – прошептала мама.

В дни войны мой отец вспомнил о своем крестьянском происхождении. Вечером, вернувшись со службы, он, городской

житель, сажал картофель, сеял пшеницу. Кроме того, к нему часто приходили крестьяне с просьбой «написать прошение». Один просил освободить сына, которого увели нацисты, другой – вернуть отобранную лошадь. За свои труды отец получал сноп пшеницы или немного зерна.

Зерно хранилось в двух каморках в мансарде, а солому свалили на чердаке.

В полусне я полез наверх. Шум отдавался в моей голове, во всем теле. Страх…

Удары прикладами стали настойчивее.

– Открывайте. Тайная полиция.

Я лег на пол. Мама быстро забросала меня соломой. Сердце учащенно колотилось.

– Не шевелись. Они не найдут тебя. Пойду открою.

Я неподвижно лежал под грудой соломы, в висках стучало, в ушах не прекращался звон. Солома колола, от ее запаха щекотало в носу. Сквозь солому я ничего не мог видеть, но слышал все: мамины шаги по лестнице, голос отца в коридоре.

– Возможно, это за мной.

– Да.

– Поди открой. Я не ручаюсь за себя. Где он?

– На чердаке.

– Иди отопри. А вы лежите в постели. Последнее относилось к двум моим сестрам – четырнадцати и двенадцати лет.

Дверь отворили. Брань стала громче. Я сразу вспомнил о тайнике и о подвале. Но было слишком поздно. Меня бросило в пот. Идиот! Болван!

Стук сапог. Везде сапоги. Немцы даже не заглянули в подвал. И не пытались найти тайник. Казалось, они с порога учуяли, где я. А может быть, опыт подсказал им, что в таких случаях обычно прячутся на чердаке? Я услышал, как тяжелые сапоги загрохотали по лестнице.

– Где ты, мерзавец?

Они поднялись на чердак. Я слышал их. Совсем рядом.

Довольный голос произнес:

– Здесь он, в соломе.

Зашуршала солома, разбрасываемая штыками. Мне ужасно хотелось, чтобы меня задели штыком. И вместе с тем я дрожал от страха. Я слышал, как штыки протыкали солому. Затем меня ослепил свет. Вокруг стояло не менее десятка немцев. Винтовки, пистолеты, автоматы. В глазах – и ярость и страх. Видимо, они рассчитывали поймать дикого зверя. Их штыки касались меня.

Было противно лежать перед ними вот так, полураздетым. У меня не было сил натянуть пижаму перед сном.

– Встать!

– Я ни в чем не виноват! – крикнул я.

– Встать!

От сильного пинка я окончательно проснулся. Ночной кошмар кончился. Удар сапога пришелся в бок.

Я вскочил, продолжая кричать, что ни в чем не виноват. Посыпались новые удары, и меня вытолкали в чердачную дверь. От толчка в спину я упал и скатился по лестнице на второй этаж.

Там стоял отец. Жалкий и растерянный, в одних кальсонах. Редкие волосы растрепаны, рот в крови – один из немцев ударил его кулаком по лицу.

Обе сестренки в ночных рубашках стояли у двери в детскую. Они плакали. Двенадцатилетнюю Денизу тоже ударили. Отец возмутился:

– Мы ничего не сделали. Что вам здесь надо? Если вы, черт побери, еще раз дотронетесь до моей дочери…

Они набросились на него, стали бить – безжалостно, со знанием дела. Меня еще никогда не били, и я ни разу не видел, как избивают человека. Я ненавидел нацистов и боролся против них, но в ту минуту я впервые по-настоящему понял, какие это варвары. Отец упал.

Мама смотрела не на него, а на меня.

– Что с ним будет?

– Он грязный террорист! Пусть немедленно собирает вещи и идет с нами.

– Мой сын ничего не сделал.

– Твой сын – бандит.

Дрожащими руками я натягивал одежду. Меня подгоняли брань и угрозы.

– Поторапливайся! Выходи!

Пока я одевался, мама спустилась вниз. Она совала мне в руки деньги, хлеб, кусок копченого мяса, носовые платки, полотенца. Вооруженные немцы стояли вокруг меня, пока я собирал вещи.

– Выходи! Быстрее!

Меня выгнали на улицу. Я ничего не видел в кромешной тьме и мог только догадываться, что за темными окнами соседних домов стоят люди. На улице я увидел пять-шесть грузовиков и легковую машину, где сидели старший офицер и женщина. Я знал эту женщину. Она была медсестрой и ухаживала за двумя американскими летчиками, которые выпрыгнули из горящего бомбардировщика и получили тяжелые ожоги. Мы нашли их раньше, чем подоспели немцы. Их звали Мартин Минник и Генри Сарноу. Потом они благополучно вернулись в Англию, о чем мы

узнали из передач Лондонского радио.

Я не понял, почему медсестра оказалась в машине. Может быть, она выдала нас, чтобы спасти себя, а возможно, вела двойную игру и работала на немецкую разведку. Видимо, немцы специально не мешали ей возиться с Минником и Сарноу, чтобы размотать всю цепочку. Но им не повезло – мой отец не доверял медсестре, и как только американцы поправились, я перевез их в другое место.

Увидев медсестру, я растерялся – она знала некоторых членов моей группы.

Меня втолкнули в грузовик, где сидели несколько немцев и мужчина в габардиновом плаще, который держался просто и дружелюбно.

– Ну вот и Марина,- произнес «Габардин». «Марина» – так называлась моя оперетта.

– Объясните, что здесь происходит. Я музыкант. Ничем другим не занимаюсь, – сказал я.

Он добродушно улыбнулся.

– Ну конечно же, дуралей.

Машины тронулись. Легковая шла позади колонны на некотором расстоянии. Видимо, медсестре не хотелось, чтобы ее узнали. Слева от меня сидел немец, справа – Габардин. Мы проехали всего несколько десятков метров и остановились у дома, в котором у меня знакомых не было. Я вздохнул с облегчением. Может быть, все не так уж плохо. Но вскоре оказалось, что арестовали Жака Петерса. Он тоже входил в нашу группу, но лично мы не были связаны. Как старший сектора, я сообщался лишь с командованием бригады. От Жака Петерса мне передавали через связного информацию о поездах, проходивших через Мол. В сообщениях Петерса, который служил машинистом на железной дороге, обычно указывались пункт назначения, груз и номер состава. Когда его втолкнули в машину, он посмотрел на меня и облегченно вздохнул, так как не знал меня.

Машины снова тронулись в путь. Габардин ткнул в меня пальцем.

– Бумажник.

Меня словно громом поразило. В бумажнике лежала не только фотография Боба Мастерса, канадца – первого переправленного мною летчика, – там находились также документы, ставившие под угрозу людей из моего сектора. Один раз в две недели организация выдавала подпольщикам по пятьсот франков под расписку – для отчетности. Эти расписки и хранились у меня в бумажнике.

Габардин – я так и не узнал его имени – рылся в моем

бумажнике. Он вытащил оттуда лишь удостоверение личности и вернул мне бумажник. Я перевел дыхание. Необходимо быстрее отделаться от обличающих документов, пока мы не прибыли к месту назначения.

– А теперь заедем за твоей невестой,- сказал Габардин все так же спокойно и дружелюбно.

Я вздрогнул.

– Какая невеста? У меня нет никакой невесты.

Но машина уже приближалась к дому Мариетты. Сидя между двумя немцами, я пытался представить себе, что им может быть известно. Мариетта была нашей связной. Несколько раз она вместе со мной сопровождала летчиков союзников.

Прошло минут десять-пятнадцать, и она вышла на улицу в сопровождении немцев. Мариетта еще не поняла всей серьезности положения. Она выглядела очень юной. И очень сонной. На ней почему-то были драгоценности – словно она собралась на бал. Видимо, вечером, после премьеры, она так устала, что легла спать, не сняв с себя украшений. Увидев меня, она улыбнулась.

– Я спешила, – сказала она. – Они велели мне поторопиться, сказали, что жених уже ждет.

Мариетте было двадцать лет. Она хотела сесть рядом со мной, но Габардин указал ей другое место.

– Любовь кончилась, – сказал он и, повернувшись ко мне, спросил: – Где живет Каликст Миссоттен?

Новая неожиданность. Черт возьми, они знали больше, чем я предполагал! Каликст был командиром бригады и занимался доставкой оружия. Я лихорадочно обдумывал план действий. Тут уж не скажешь, что я с ним незнаком. Я и Каликст были неразлучны. И, кроме того, он играл главную роль в моей оперетте.

И я ответил:

– Розенберг, 95.

Каликст жил в доме 96. Я надеялся, что дом 95 расположен на другой стороне улицы, где-то рядом. Может быть, Каликст попытается скрыться, когда увидит приближающихся немцев. Позади его дома находился большой парк, за ним река Нет, а дальше – поле.

Но они подъехали не к девяносто пятому дому, а прямо к девяносто шестому. Габардин улыбнулся мне. Они были прекрасно осведомлены обо всем. Немцы скрылись в доме.

Я вспоминал о том, как мы ночью принимали оружие, которое сбрасывали нам с самолета. Каждый вечер мы должны были слушать передачи Лондонского радио. Услышав пароль, мы собирались в одиннадцать часов в условленном месте. Нам не

разрешалось вступать в контакт друг с другом, каждый должен был добираться в пункт сбора своим путем.

Отец Каликста торговал пивом, и Каликст развозил пиво в повозке, как это было принято тогда. Если маршрут оказывался длинным, с заездом в деревушки, он возвращался домой поздно. Однажды я, нарушив инструкцию, заехал к нему.

Он спокойно сидел за столом, положив рядом с тарелкой спортивную страницу газеты.

– Ты еще не готов? – удивился я.

– К чему? – спросил он с набитым ртом.

– Ты что, не слушал радио?

– Отец слушал. Он сказал, что условного сигнала не было. – Я сразу понял, в чем дело. Я понял это, как только взглянул на его отца.

– Пошевеливайся, черт побери, не то мы опоздаем, – сказал я. Отец бросился на колени перед сыном и с мольбой протянул к нему руки.

– Я слышал пароль, но не хотел говорить тебе об этом. Я не хочу отпускать тебя! В прошлую войну мофы[1] гноили в тюрьме меня, а теперь они убьют тебя, если ты им попадешься.

И Каликст ответил. Очень просто. И очень мудро:

– Отец, неужели ты хочешь, чтобы я стал трусом?

Родители Каликста провожали нас со слезами. Он был единственным сыном.

В то утро, 8 марта 1944 года, Каликста тоже взяли. Прямо из кровати. Сонного и растрепанного, они втолкнули его в грузовик. Но он даже и тут не потерял чувства юмора:

– Доброе утро! А я-то надеялся поспать сегодня подольше.

Его швырнули на скамью.

Следующий адрес: Рондплейн, 3, в Моле. Тревога все сильнее охватывала меня. Становилось ясно, что они знали довольно много. На Рондплейн жили мои дядя и тетя. У них скрывались двое американцев до того, как я перевез их в другое место. Лихорадочно перебирал я в своей памяти, что могло быть известно моим родственникам, кого из наших они видели.

Дядю с тетей вывели на улицу и усадили на скамейку. Они молча взглянули на меня.

И вот мы снова в пути, едем из Мола в Донк. Остановка у дома Луи Мертенса. Он тоже участвовал в операции по доставке оружия. Кроме того, часть оружия хранилась у него. Теперь, когда они после Каликста Миссоттена взялись за Луи, стало ясно, что немцам известно о том, каким способом нам доставляют оружие. Меня одолевали тревожные мысли. Медсестра не знала об этой операции. Месяц назад арестовали нескольких человек из нашей

группы – участников операции. Возможно, кто-то из них проговорился. А может быть, кто-то еще раньше проболтался обо всем медсестре? Впрочем, она не похожа на шпионку, о которых так часто рассказывается в романах и фильмах. У нее есть ребенок; говорили, что он от немца и что поэтому медсестра была вынуждена работать на немцев. Иначе жизнь ребенка оказалась бы под угрозой.

Луи Мертенса жестоко били, пока он не указал место, где было зарыто оружие. Следы побоев мы увидели, когда Мертенса втолкнули в машину.

Немцы, запретившие моей невесте и Каликсту сесть рядом со мной, позволили сделать это Мертенсу. Луи был помолвлен с двоюродной сестрой моей невесты. Я сразу же заговорил с ним.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спросил я.

– Ничего, – ответил он. – Они вломились к нам и заявили, что я прячу оружие.

– Осторожно, – вмешался Габардин. – Я понимаю по-фламандски. Разговаривать о делах запрещено.

– Давай посмотрим фотографии, – предложил я.

Луи удивленно посмотрел на меня. Но понял, что у меня какой-то план. Он достал фото Лизетты, а я – карточки Мариетты. Немцы перестали обращать на нас внимание. Видимо, их вполне устраивало наше поведение. С каждой фотографией я вытаскивал из бумажника расписки, незаметно отправлял в рот и проглатывал. Так я уничтожил все расписки и фото Боба Мастерса. Только тогда я почувствовал себя спокойнее. Теперь они не получат дополнительных данных и новых арестов не будет. А это главное. Движение Сопротивления должно продолжаться. Я знал, что руководство в надежных руках моего заместителя и что он сделает все для того, чтобы борьба не прекращалась. И он это сделал. Спасибо тебе, Фернанд Геверс, за то, что ты не опустил руки после нашего ареста и руководил сектором до самого освобождения.

Я продолжал анализировать, что может быть известно немцам. Доставка оружия. Американцы Минник и Сарноу. Возможно, они знают и о Бобе Мастерсе. Я брал для Боба Мастерса велосипед в одном доме, где случайно оказалась та самая медсестра. Тогда мы ей еще доверяли. Я взял для Боба Мастерса велосипед и удочки. Удочки мы привязали к раме. Рыболов на велосипеде ни у кого не вызовет подозрений.

Я думал о предстоящих допросах. Самое главное сейчас – предотвратить новые аресты.

Нас привезли в Антверпен. В тюрьму на Бегейненстраат.

Мужчин сразу же отделили от женщин. Обыскали.

Бумажники отобрали, а деньги и драгоценности конфисковали. Часть денег была положена на счет, и мы могли расходовать их в тюремной лавке – разрешалось покупать бутылку пива в день, пачку сигарет и дюжину спичек – раз в неделю. Нам оставили то, что мы взяли с собой из дома: еду, белье и туалетные принадлежности. Меня отвели в камеру первым. Многочисленные двери с решетками подействовали на меня удручающе. Мрак. Холод. Теснота. Под самым потолком – окошко с решеткой.

Глупо, но я сказал немцу, открывавшему передо мной дверь:

– Первый раз я в каталажке.

Он молча захлопнул дверь. Послышался стук сапог и звон ключей. Я осмотрелся. Раздвижной стол, на ночь превращавшийся в нары. Несколько соломенных тюфяков в углу. Толстая черная труба отопления, проходившая через все камеры. Треугольный шкафчик в углу около двери. Тюремные правила на стене.

В этой жуткой тишине я, казалось, слышал биение своего сердца.

Меня охватил ужас одиночества. Безысходность и страх перед неизвестностью. Холодный мрак проникал в мое сознание. Все звуки казались нереальными и далекими.

И вот снова застучали сапоги, зазвенели ключи. Скрежет ключа в двери. В камеру втолкнули Луи Мертенса. Я быстро кивнул на решетку вентилятора над дверью. Кто знает, может, там спрятан микрофон…

– Что за идиотизм? – спросил я.- Забирают прямо из постели неизвестно за что.

– Я тоже не понимаю, в чем дело,- сказал он.- Контрабандисты зарыли оружие в нашем дворе. Ума не приложу, как немцы об этом дознались. Мне приказали копать, и я случайно наткнулся на место, где оно было зарыто. Сам удивился, увидев оружие.

Мы растерянно смотрели друг на друга. Хорошо, что мы могли разговаривать. Надо установить, откуда немцам стало все известно. Однако мы боялись говорить из-за проклятого вентилятора. Теперь это звучит смешно. Но тогда… Я разговаривал с другими заключенными с Бегейненстраат, и все они точно так же считали, что за вентиляционной решеткой установлен микрофон.

Привели, Каликста Миссоттена. За ним – моего дядю Иоса. И наконец, Жака Петерса. Все продолжали недоумевать, за что их арестовали. Мы разговаривали очень громко – в надежде, что нас подслушивают.

Под вечер дверь камеры отворилась.

– Мертенс, выходи.

Тогда мы еще не знали, что значит «выходи». Мы сидели рядом и напряженно ждали. Мы смотрели друг на друга и говорили глупости.

– Его допрашивают?

– Сейчас мы наверняка узнаем, что это простое недоразумение.

Ожидание длилось почти три часа. Три столетия. Только что мне казалось, будто в тюрьме невероятно тихо. Но теперь отовсюду неслись какие-то звуки, гортанные крики. И беспрерывный стук сапог.

– Они не могут ничего сделать с нами, если мы ни в чем не виноваты.

– Возможно, на нас донесли. У каждого ведь есть враги.

Наконец дверь отворилась, и в камеру втолкнули Луи Мертенса. Он был багрово-красным, выглядел усталым и растерянным.

– Конец, – сказал он и выругался по-фламандски.

Я кивнул на вентилятор, но он насмешливо покачал головой.

– Не имеет значения. Им и так все уже известно. Эти гады расстреляют нас.

– Что им известно? – спросил я напрямик.

– Когда я вошел, там был Х.

Этот человек еще жив, поэтому я не называю его имени. Я не знаю, как и почему он оказался лицом к лицу с Луи Мертенсом. У него были жена и дети, а это может сломить волю человека. К тому же немцы допрашивали «с пристрастием».

Мертенс рассказал, что его сильно били, и объявил, что нет никакого смысла отрицать те факты, о которых немцы уже знают, – это вызовет только лишние мучения. Им все известно о том, как нам сбрасывали оружие, о двух американцах и канадце. Я внимательно следил за Мертенсом, когда он говорил все это. Мне казалось, что он не в себе. Однако он повторил все сначала еще раз.

– И ты признался? – испугался я.

– А что оставалось делать? Им все известно. И Х. все уже подтвердил. Мне показали его письменное признание.

Каликст спросил:

– А они не сказали, что будет с нами?

Луи иронически засмеялся:

– Нет. Я их об этом не спросил. Оказался нелюбопытным. Если они меня расстреляют, то перед этим я еще пошлю их к…- Луи грубо выругался.

Меня вдруг бросило в холодный пот. Болезненно сжало желудок. В памяти пронеслись газетные сообщения о смертных

приговорах тем, кто помогал летчикам союзников или прятал оружие. Все эти сообщения кончались одинаково: «Приговор приведен в исполнение». Я представил себе, как стою перед» карательным взводом. «Предпочитаешь пулю в спину?» – «Нет». – «Повязку на глаза?» – «Нет». Так полагалось вести себя двадцатидвухлетнему идеалисту. И все-таки я ужасно боялся.

– Нас расстреляют! – повторил Луи Мертенс.

– Перестань каркать! – разозлился я.

– Я не признаюсь ни в чем, – решил мой дядя. – Если ни в чем не признаваться, то нечего писать в протокол. А раз нечего писать в протокол, не за что наказывать.

Каликст недоумевал:

– Как они узнали о доставке оружия?

– Ума не приложу,- задумчиво сказал Луи Мертенс. – Они задают такие вопросы… Подожди немного, сам увидишь. Это тебе не дружеская беседа.

– А они спрашивали тебя о других? Об оставшихся на воле? – спросил я.

– Нет. Но им известен твой номер – АМ1.

– Проклятие! – воскликнул я.- Что же делать?

– Не знаю, приятель. Выкручивайся сам, Но глупо терпеть побои, когда им все уже известно.

– Ты подписал протокол допроса?

– Да. Показания записывались на машинке. Там указаны фамилии участников операции.

– Проклятие!

– А как бы ты поступил?

Не знаю. Видимо, так же, как и он. Луи очень сильный человек. Но он был прав – к чему лишние муки.

На допрос увели дядю Йоса. Снова томительное ожидание. Луи все еще не успокоился. Изредка тихо ругался.

Я спрашивал себя, почему первым вызвали не меня. Ведь им известен мой номер, а значит и моя роль в организации (АМ1 означало: Провинция Антверпен. Сектор Мол. Номер Г). Было бы логично допросить меня первым. Возможно, они надеялись сломить меня, показав другим, насколько они осведомлены. На моем счету числились не только доставка оружия, американцы и Боб Мастере. Я возглавлял организацию. Крепкую организацию. И нельзя было допустить, чтобы они добрались до нее. Мы оказывали помощь и другим летчикам. Готовили акты саботажа. Каликст тоже участвовал в них.

– Ты участвовал только в операции с оружием, – сказал я ему.- Больше ты ничего не делал.

Он понимающе кивнул.

– Завербовал тебя я, и, кроме меня, ты никого не знаешь, – продолжал я.

– Разумеется.

Через полтора часа вернулся мой дядя. Он был совершенно подавлен.

– Ну как? – спросил я.

– Били…

– Рассказывай.

– Я сказал им, что ни слова не понимаю по-немецки. Тогда длинный немец обозвал меня ослом. Я возразил, что это не я осел, а они. Меня стали бить. Били здорово. Канальи!

– Как тебя угораздило сказать такую глупость? – возмутился я.

– Так уж вышло, – признался он. – Конечно, глупо. Я прикинулся дураком. Скроил такую физиономию, будто не могу сосчитать до трех. Я подумал, что если они примут меня за полуидиота, мне ничего не сделают.

– Ну и что дальше? – спросил я.

– Они добивались, чтобы я назвал себя идиотом, били меня страшно. Тот длинный – настоящий зверь. Я сказал, что я не идиот, так как все идиоты смешные, а я совсем не смешной.

Мы рассмеялись. Он и в самом деле скорчил такую мину, что невозможно было удержаться от смеха.

– Так ты ни в чем и не признался? – спросил я.

Он глупо захихикал.

– Признался. После побоев мне задали «баню». Такую баню… Они сказали, что все знают, и если я не признаюсь, то меня ежедневно будут водить в баню. Им известно, когда летчики поселились у меня и когда уехали. Они знают все.

– И ты сказал им, куда я их переправил?

– Да.

Я замолчал. Он попался в ловушку. Они убедили его, что им все известно, и он поверил. Остальные почти не слушали нас. Я не мог упрекать их – у каждого свои заботы. Если человек после двадцатишестилетних раздумий о том, как он попал в тюрьму и концлагерь, прочтет эту книгу, то найдет в ней ответ. Я никогда не затрагивал этого вопроса. Но теперь, спустя четверть века, нет необходимости умалчивать об этом. Дело не в предательстве. Дело просто в неосторожности. Я тоже совершил ошибку: я не имел права сообщать дяде, куда увожу американцев. Но он так беспокоился за них! Ведь он выхаживал их, больных и слабых, несколько недель и хотел быть твердо уверенным, что их укроют в надежном месте.

После дяди увели Каликста. Через час вернулся и он. Его

обвинили лишь в доставке оружия. Ему зачитали показания Луи Мертенса. Он спросил, расстреляют ли его.

– Да нет. Вы глупые мальчишки, вас только интернируют.

Каликст признал свою вину и подписал протокол.

Затем наступила очередь Жака Петерса. Вернувшись, он ничего не стал рассказывать. Он не участвовал в наших делах и решил вести на допросе свою собственную игру. Нам сказал лишь одну фразу:

– Меня выдала медсестра.

(Жак Петере сообщил об этом домой. В его письме каждое предложение начиналось с заглавной буквы, из которых составилась фраза: «Меня выдала медсестра».)

Темнело. Меня все еще не вызывали. Нам принесли по миске вонючего супа, но ни один не притронулся к еде. Мы не трогали и продуктов, захваченных из дома.

Нары уступили Жаку Петерсу – он был старше всех. Остальные улеглись на соломенных тюфяках. Никто не раздевался. Мне думается, ни один из нас не уснул в ту ночь.

Так началось одичание.

Жак Петере первым воспользовался парашей.

Авеню Бельгиелей, Антверпен. Роскошный особняк. Здесь размещалась тайная военная полиция.

На следующее утро наступил мой черед ехать на допрос. Меня вывели из камеры в сопровождении двух солдат вермахта и провели к машине. Мне указали место в фольксвагене – сзади. Рядом сел вооруженный солдат. Второй вел машину. Мы ехали по городу. Это был уже чужой мир. Я смотрел на трамвай, на редкие такси, на кинотеатры, на пешеходов на тротуарах. Тысячи пешеходов, торопившихся домой. Люди, которые вечером могут выпить пива, сходить в кино, тайком послушать Лондонское радио.

Перед входом в здание тайной полиции стояли два часовых – парни из пресловутой Черной бригады[2]. Машина нырнула в ворота. Два солдата провели меня в подъезд. Мраморный пол. Широкая лестница с толстой дорожкой.

На втором этаже один из конвоиров постучал в дверь.

Я глубоко вздохнул.

– Входите!

Солдат отворил дверь, второй подтолкнул меня в спину. И вот я в комнате.

Там был Габардин. Унтер-офицер в очках сидел за пишущей машинкой.

За массивным письменным столом восседал мрачный грузный военный с многочисленными знаками различия. Я всегда

плохо разбирался в чинах немецкой армии и не понял, кто он: лейтенант или капитан. А может быть, еще выше. Странно, что в тот момент я думал о таких вещах… Настал мой час! Меня ждет допрос. Побои… Я остановился перед столом. Толстяк продолжал сидеть, роясь в бумагах. Нарочно, чтобы вывести меня из равновесия. Я понимал это и все же нервничал. Наконец он поднял голову. В правой руке у него был гибкий хлыст, которым он ритмично постукивал по столу. Я старался выглядеть спокойным. Не знаю, удалось ли мне это. Он продолжал наблюдать.

Я ожидал, что он начнет орать. Немцы всегда орут. Но у этого был тихий голос, который почему-то раздражал меня.

– Итак,- начал он,- вот и АМ1.

Я не испугался, так как уже знал, что им известен мой номер. Я молча ждал.

– Я майор Бос,- представился немец. – Бо-о-с, а не Бош. До войны служил инспектором уголовной полиции. Не пытайся водить меня за нос, я вижу тебя насквозь. А если вздумаешь врать…

Стало тихо. Замысел Боса был ясен: он рассчитывал на то, что тишина испугает меня. Так или иначе, но она и в самом деле наводила страх. Рядом с ним я был неопытным двадцатидвухлетним юнцом. Я думал о том, как ему удалось провести моего дядю.

Бос, улыбаясь, показал мне свой хлыст:

– Взгляни-ка, молодой человек. Знаешь, что это?

Он внимательно следил за мной. Я ответил как можно простодушнее:

– Нет, господин офицер.

– Это бамбук,- произнес он довольным тоном и с ухмылкой посмотрел на меня. – Так. Теперь можно начинать.

Он медленно встал. Снова игра. Когда он сидел, то казался просто грузным, но когда встал из-за стола, то оказался огромным детиной двухметрового роста. Руки как лопаты. Бос подошел ко мне, схватил за лацкан пиджака, приподнял и встряхнул.

– Знаешь, почему ты здесь? Я кивнул, и он отпустил меня.

– Мне уже рассказали,- ответил я.

– Учти: я все знаю. Мне известно о тебе все. Чтобы дать мне немного подумать, он опять стал копаться в бумагах на своем столе.

– Твоя оперетта имела большой успех, не так ли? – спросил Габардин.

Я взглянул на него. Он показал мне билет и программу.

Значит, он был на спектакле.

– Сегодня опять пойду, – сказал он.

Он показал билет. На пятницу 10 марта 1944 года. Я старался скрыть свою радость. Значит, спектакли продолжаются. Главную роль в моей опереттe исполнял Каликст, и я не мог понять, кто же его заменил. Все расходы по спектаклю, очевидно, взяли на себя мои родители. Если представления сорвутся, то они понесут большие убытки. Черт возьми, какая чепуха лезет в голову… Ведь мне предстоит допрос.

– Я хочу знать все о членах твоей организации, – резко начал Бос. – Мелкая сошка меня не интересует. Руководители бригады и групп – вот кто мне нужен. Младших я знаю. Они меня не интересуют. Геверс, Ванарвеген и все остальные идиоты меня не интересуют.

Я молчал, выжидая. Геверс – мой заместитель. Ванарвеген – командир бригады. Я так никогда и не узнал, откуда Бос узнал их фамилии. Но в нашем городке было столько Геверсов и Ванарвегенов, что я решил лучше ждать и молчать.

– В твоей организации шестьсот пятьдесят членов,- сказал Бос. – Они меня не интересуют. Мне нужны командиры бригад и групп.

Он давил меня фактами: фамилии, точные цифры. В нашей бригаде действительно должно быть 650 человек. Фактически их было меньше, так как группы еще не были полностью укомплектованы. Я старался вспомнить, кто из арестованных знал о численном составе бригады и групп. Несколько человек.

– У меня нет людей,- ответил я.

Меня не проведешь. Я знал, что ему нужны все. От меня он хотел узнать фамилии командиров бригад и групп, а от них – фамилии подчиненных.

– У меня нет людей. Слишком большой риск заниматься вербовкой,- повторил я.

– Я все знаю о тебе,- скороговоркой повторил он.- Шеф вашей провинции уже месяц здесь. Он все рассказал. Языки быстро развязываются, когда приходится спасать собственную шкуру.

Но я понял, что шеф провинции молчал. Иначе Бос узнал бы значительно больше того, что сказал мне.

– У меня нет людей,- упорствовал я.- У меня было задание вербовать людей, но я его не выполнил. Мы все уже в ваших руках, других нет.

– Об этом поговорим потом,- сказал Бос. – Никакие увертки тебе не помогут. Здесь как на исповеди. Солжешь или забудешь что-нибудь – попадешь в ад. Разве твой ненормальный дядюшка не рассказал тебе о баньке, которую мы ему задали?

Я не ответил. Габардин жевал яблоко. Очкарик за пишущей машинкой, кусая ногти, ждал.

Бос начал зачитывать показания Луи Мертенса, дяди, Каликста Миссоттена. Он читал медленно и отчетливо. Видимо, он привык иметь дело с людьми, слабо знающими немецкий. Я подумал, что мне тоже лучше сделать вид, будто я не все понимаю. На самом же деле я говорил по-немецки совершенно свободно. Когда я был маленьким, мой отец несколько лет служил в жандармерии немецкой области, отошедшей к Бельгии после первой мировой войны, так что в детстве я учился немецкому и в школе и на улице.

Зачитав показания, Бос сделал небольшую паузу. Он смотрел на меня, постукивая бамбуковым хлыстом по руке. Он как бы изучал меня, обдумывая, какой «способ воздействия» применить ко мне: суровый или мягкий. Я ждал с нарочито глуповатым видом.

– Итак, болван, ты собираешься отвечать?

Я пожал плечами:

– Чего вы ждете от меня, если вам и так уже все сказали?

– Они-то сказали все,- подтвердил он.- Но ты нет. Ты знаешь значительно больше. Это наша первая встреча. Завтра, послезавтра или чуть позже я снова вызову тебя. И тогда ты сообщишь мне все подробности. Где ты должен был встречать этих воздушных бандитов? Куда отправлял их? Назови фамилии командиров бригады и групп. Надеюсь, что ты не вынудишь меня прибегнуть к крайним мерам. Я не сторонник таких вещей. В мирное время я был полицейским. И теперь остаюсь полицейским, только полицейским военного времени. Я стараюсь действовать старыми методами, если нет необходимости применять новые.

Он сам диктовал «мои» показания на основании уже полученных ранее. Унтер-офицер печатал неуклюжими пальцами, шевеля губами. Габардин продолжал не спеша грызть яблоко. Бос дал мне подписать протокол допроса и отправил обратно в тюрьму.

Я подумал, что все обошлось как нельзя лучше.

Когда меня доставили в камеру, там уже никого не было. Несколько часов я просидел один. Я радовался, что наконец остался в одиночестве. Нужно было все обдумать. Много ли знает Бос? Что нужно сделать, чтобы избежать новых арестов?

За мной пришли, велели взять еду и белье – меня переводили в камеру пятого отделения. В любом рассказе о тюремной жизни можно прочесть, что шаги в тюрьме звучат глухо, а двери скрипят. Да, шаги звучат глухо. И двери действительно скрипят.

Этот скрежет дверных петель надрывает душу.

В камере уже сидели четыре человека. Говорят, что у заключенных лица серого цвета. Да, они и в самом деле были серого цвета.

В камере воздух был спертый и ужасно пахло. Потом, человеческими испражнениями. И страхом. А еще голодом. Узники выглядели изможденными и неряшливыми. В их глазах застыла безысходность. Все четверо были старше меня: лет сорока – пятидесяти. Они смотрели на меня, я – на них.

Один из них в форме капитана жандармерии сказал:

– Моя фамилия Липпефелд.

– Людо ван Экхаут,- представился я.

– Откуда ты?

– Из Мола.

– Это там, где песчаные карьеры?

– Да.

– За что тебя? – спросил грубоватый мужчина с усами. У него был лимбургский акцент.

– Ни за что,- ответил я. Судя по романам, в тюрьме среди заключенных обязательно должен сидеть шпик…- Не знаю, почему я оказался здесь. Наверное, взяли по ошибке.

Им это показалось забавным. Они засмеялись. Хотя смех этот был невеселый, но все же они смеялись. У некоторых даже слезы выступили.

– Никто сначала не знает, за что его посадили. Но после нескольких допросов кое-что проясняется.

– И за что же вы попали? – спросил я. Они переглянулись.

Лимбуржец сказал:

– Они арестовали моего сына. Он заболел, и его отправили в больницу. В бельгийскую больницу. Они все боялись, что он убежит по дороге, но он исчез из больницы. И теперь меня обвиняют в том, что я его оттуда вывез.

– Ты?

– Конечно же, нет. Я и понятия не имею, где он.

Франеке – цветочник из Мортселя – сказал:

– Мне никто не верит, но я действительно не знаю, почему я здесь.

– Зови меня просто Наполеоном,- представился маленький насмешливый мужчина. – Меня в наших краях все так звали. Я тоже не знаю, за что попал сюда.

– Меня арестовали прямо на службе, – рассказывал Липпефелд. – Даже не представляю, в чем причина. Здесь я ввел военные порядки. Считаю эту камеру как бы армейским карцером, где все должны выполнять определенные обязанности.

С завтрашнего утра включишься и ты.

– Какой великолепный кусок мяса! – воскликнул лимбуржец.

– Нужно молиться, – назидательно сказал Франеке.

– Молиться? – возмутился я. – Зачем это?

Я получил среднее образование в католическом коллеже, где меня навсегда сделали атеистом и антиклерикалом.

– Чертовски хороший кусок мяса! – не унимался лимбуржец.

– Оставь его в покое, – взорвался Наполеон. – Нечего зариться на чужое. Через пару дней он подохнет с голоду. Ведь сопляк еще.

Я и не предполагал, что этот кусок мяса привлечет такое внимание. У меня было такое чувство, что мне больше никогда не захочется есть.

– Хотите попробовать? – спросил я.

– Еще бы! – воскликнул лимбуржец.

Он вытащил нож из треугольного шкафчика и разрезал кусок копченого мяса на пять частей. Остальные внимательно следили, ровно ли он режет.

Франеке встал в угол и отвернулся к стене.

– Кому? – спросил лимбуржец, взяв первый кусок.

– Наполеону.

– А этот?

– Мне.

– А этот?

– Новенькому.

Мясо разделили. Я положил свою долю в тумбочку. Остальные стали жадно есть.

– Ты неправ,- поучал жующий Франеке. – Здесь нужно утешение. И смирение. А их тебе может дать только бог.

– Ешь и не болтай! – рассердился я. – А то ненароком подавишься.

Первым справился с мясом лимбуржец.

– Какой чудесный хлеб! – сказал он.

– Моя мама нечет его сама,- ответил я.

– Сразу видно. Ни в какое сравнение не идет с пресным пайковым хлебом.

Мою буханку тоже разделили на пять частей. Свою долю они умяли сразу, моя осталась в тумбочке.

– Послезавтра и у тебя заурчит в животе, – предсказывал Наполеон.

– Почему тебя прозвали Наполеоном? – поинтересовался я.

Он засмеялся:

– Это еще с той войны. Я поспорил на бутылку джина, что встану на бруствере окопа в позе Наполеона. И получил пулю в ногу. Видишь, остался шрам. Но бутылку джина выиграл.

В полдень принесли суп. Я не стал есть, и Мою порцию разделили на всех. Переливали по ложке в каждую миску, осторожно, почти торжественно. Они вызывали у меня жалость. И презрение. Мне казалось, что, попав в руки врага, человек прежде всего должен думать о сохранении своего достоинства. Было неприятно видеть патриотов, споривших из-за того, что одна ложка супа казалась чуть-чуть полнее другой.

Я решил, что никогда не уподоблюсь им.

На следующий день я съел свою порцию хлеба и сахара – 225 граммов хлеба и четыре куска сахара. Церемония раздела началась сразу. Франеке встал в угол, а лимбуржец взял хлеб.

– Кому?

– Липпефелду. Потом делили сахар.

Скандал разразился из-за того, что Франеке досталось больше всех хлеба и самые крупные куски сахара.

– Ты подсмотрел, каналья. Вчера тебе тоже достался самый большой кусок.

Буханки, весившие по 450 граммов, разрезали на две части очень небрежно. Похоже, что их специально делили неровно, чтобы перессорить заключенных.

Эти ссоры возмущали меня. Пребывание в тюрьме я представлял себе совсем иначе: возвышенные беседы о свободе, о новой демократии. Непременно возвышенные. Но трудно думать о возвышенном, когда голоден.

Кажется, я нашел способ прекратить перебранку из-за хлеба. Я внес предложение:

– Почему вы решили делить вслепую? Давайте лучше установим порядок – от старшего к младшему. Каждый выбирает сам себе порцию. Сначала старший, за ним остальные. На следующий день мы перемещаемся на одно место и таким образом все попеременно будем то первыми, то вторыми, то третьими. А с сахаром поступим наоборот. Тот, кому достанется самый маленький кусок хлеба, получит самые крупные куски сахара.

– Сопляк прав,- сказал лимбуржец, и предложение приняли.

Но и такой порядок ни к чему хорошему не привел. Первый в очереди невероятно долго копался: брал два куска хлеба, сравнивал их, клал один и брал другой, а потом снова хватал первый. И, сделав наконец выбор, расстраивался из-за того, что отложенный кусок казался ему больше. И сахар выбирали не быстрее.

Возобновились шумные и противные скандалы: «Убери свои лапы!» – «Не лапай хлеб!» – «И где тебя только воспитывали, черт побери!»

Четырнадцать дней подряд они делили мой суп в обед и вечером. С каждым днем их порция понемногу уменьшалась: я съедал все больше и больше сам. А когда я впервые съел весь суп, только Наполеон одобрительно похлопал меня по плечу, остальные были разочарованы – словно они уже обрели право на мою порцию.

Меня уже два раза вызывали на допрос.

– Твой отец – крайне грубый человек,- заявил Габардин на другой день после второго представления моей оперетты.

Я молча смотрел на него. Мне казалось, что лучше молчать до тех пор, пока не начнут задавать вопросы.

– Я вчера был на спектакле. Твой старик сидел за кассой. Он отказался продавать билеты нашим солдатам, заявив, что этот спектакль только для гражданских. Не очень разумно с его стороны.

– Старика мы, наверное, тоже возьмем,- сказал Бос.

– Отец ни в чем не виноват,- сказал я угрюмо.- Мой отец совершенно не в курсе наших дел. Если бы узнал, то надрал бы мне уши.

– Я был в гражданском,- продолжал Габардин.- Малыш в роли Миссоттена великолепен. Но петь он не умеет.

– Старика мы, наверное, тоже возьмем,- повторил Бос.

Унтер-офицер за машинкой изнывал от скуки.

Еще до моего ареста один из членов нашей организации сказал, что в случае провала я должен все свалить на него. Он уверял, что узнав о провале, он немедленно скроется. Его звали Эдгар Мол. Он был директором фирмы, которая занималась продажей белого песка. Эдгар утверждал, что у него есть абсолютно надежный адрес за границей и все необходимые документы, чтобы уехать без осложнений.

В нашем городке Эдгар слыл чудаком, но во время войны показал себя смелым человеком. Я подолгу разговаривал с ним. У него была железная логика. В 1941 году он сказал мне, что англичане – об американцах тогда еще не было речи – непременно высадятся в Нормандии, если вторжение когда-либо осуществится. Однажды ему удалось вывести из многолюдного кафе английского летчика да так, что ни один из свидетелей и пикнуть не посмел.

Я разговаривал с ним и о возможном аресте, и о допросах, хотя никогда всерьез не думал, что меня могут арестовать. Молодость всегда беззаботна.

Он учил меня, как вести себя на допросах. Эдгар считал: главное – лгать что угодно, но только не молчать. Каждого можно довести до такого состояния, что он заговорит. Ведь эти

молодчики не церемонятся. Лучше говорить самому, пока тебя не взяли в оборот. Когда тебя доведут до точки, можешь и проговориться. Надо выдумать легенду. Не обязательно хорошую, но, во всяком случае, убедительную. И надо успеть рассказать ее до конца, пока тебя не изобьют до беспамятства.

– У тебя будет легенда суперкласс, если ты всю вину свалишь на меня,- внушал он мне.

Разумеется, уже на первом допросе я вспомнил советы Эдгара Мола. Но я не решался воспользоваться его предложением, хотя он не раз повторял мне, что говорит все это вполне серьезно. Одно дело – теория, другое – практика. Если Эдгар Мол не скрылся, узнав о моем аресте, и выжидает, то окажется, что я выдал одного из лучших своих друзей.

На первых допросах Бос вел себя дружелюбно. Часто оставлял меня наедине с Габардином, который разговаривал со мной таким отеческим тоном, что мне хотелось плюнуть ему в физиономию. «Мы желаем тебе только добра, парень». Он произносил слово «парень» так, будто обращался к родному сыну. «Ты был слишком молод, чтобы понять серьезность своих поступков и предвидеть последствия. Но по молодости или нет, ты сделал то, что сделал, и теперь должен искупить свою вину. Ты должен помочь нам, чтобы мы могли помочь тебе. Если расскажешь все, мы сможем интернировать тебя и закрыть твое дело, не передавая его в трибунал. А с трибуналом шутки плохи. Там не посмотрят на твой возраст. Они скажут: за то, что сделал этот парень, по статье такой-то полагается смертный приговор».

– Мне очень хотелось бы вам что-то рассказать, но я ничего не знаю. Вам так хорошо все известно, что мне уже нечего добавить,- с готовностью сказал я.

Надменный Бос иной раз тоже пытался прикинуться добреньким.

– И чего вы, недоросли, занялись такими глупостями?

Я злился. Он прекрасно понимает, что в моих глазах то, что мы делали, вовсе не глупости.

– Я бельгиец, а вы немец,- ответил я. Бос не возразил. Думаю, что мой ответ понравился ему.

В другой раз – не помню уже, чем он тогда вывел меня из равновесия,- я сказал:

– Мне кажется, что вы больше уважаете нас, чем тех шутов, которые стоят на часах у входа.

И на сей раз он тоже ничего не ответил. Наверное, и эти мои слова понравились ему.

На первых порах мне не приходилось на него жаловаться: Бос задавал конкретные вопросы, я давал уклончивые ответы. Он и на

самом деле вел себя, как обыкновенный полицейский, которых так карикатурно изображают в фильмах. Постепенно я стал думать, что он из тех собак, которые не кусают.

Однако он ждал своего часа. Рассчитывал на эффект перехода от мягкости к жестокости. Но он просчитался – он выжидал слишком долго. И когда я встретился с настоящим майором Босом, я уже точно знал, что Эдгар Мол скрылся.

Это произошло так:

Солдат, доставивший меня к кабинету Боса, испуганно остановился перед дверью, услышав крик майора. Я по-прежнему делал вид, что не понимаю немецкого. За дверью слышался голос Габардина, извиняющийся и льстивый. Чем больше он извинялся и раболепствовал, тем громче кричал Бос, обвинявший Габардина в исчезновении проклятого Эдгара Мола, ареста которого он так долго ждал. Он спрашивал, что собирается делать этот «набитый дурак», чтобы найти Эдгара Мола. Габардин промямлил, что не знает, как быть.

Я, разумеется, внимательно слушал. Однако не принимал все это на веру. А вдруг они разыгрывают комедию специально для меня? Но когда наконец отворилась дверь и появился багровый Габардин, я сразу понял, что это была не комедия – он получил настоящий нагоняй.

Заметив нас. Бос заорал еще громче. Теперь он набросился на солдата за то, что тот стоял со мной у двери. Он был вне себя от ярости. Таким я его еще никогда не видел. Солдат совершенно растерялся, пытался оправдаться: «Я не знал… Простите, господин майор». Но Бос продолжал орать, брызгая слюной, и отчаянно ругаться. Наконец он приказал солдату убираться вон, а я получил свою первую порцию ударов. Бос бил меня не бамбуковым хлыстом, а своими огромными ручищами. Он хлестал меня по лицу, пока я шел через его кабинет. Затем он захлопнул дверь и опять принялся избивать меня. Беспощадно. Злобно. Я расставил ноги, чтобы не упасть. Тогда мне казалось, что самое главное – устоять. Позже я узнал, что надо было сразу падать. Иногда мучителя успокаивает сознание собственной силы, хотя случалось, что упавшего поднимали и продолжали бить. Итак, я стоял, расставив ноги и раскачиваясь взад и вперед от его ударов. В ушах гудело, щеки горели.

– Мое терпение лопнуло, мерзавец! С этого дня ты заговоришь. Зря только я терял с тобой время. Думаешь, ты очень хитер? Да я вижу тебя насквозь, террорист проклятый. Не будешь говорить, отправлю в военный трибунал, а там тебе не миновать смертного приговора. Я уже повидал немало таких храбрецов – перед карательным взводом они хныкали и просили о пощаде.

Приходилось привязывать их к столбу, потому что у них подгибались колени.

Он сел, взял свой бамбуковый хлыст и принялся постукивать им по руке. Унтер-офицер за машинкой сидел не шелохнувшись.

Вернулся Габардин. Лицо его все еще пылало.

– Твой отец – наглый негодяй,- сказал он.- Во время второго представления твоей оперетты…

– Ты уже рассказывал ему об этом,- разозлился Бос.- Пора брать старика.

Я не хотел снова выводить его из себя.

– Сейчас я сообщил ему, что его ждет смертный приговор,- сказал Бос.- Специально приду взглянуть, как его будут расстреливать. Завтра рано утром буду возвращаться от своей красотки и заверну посмотреть этот спектакль.

– Нет,- возразил Габардин, вступая в игру.- Этого не будет. Глупый парень в конце концов образумится.

Его вкрадчивый голос возмутил меня. На моих щеках все еще горели пощечины Боса.

– Я не боюсь карательного взвода,- сказал я и посмотрел Босу прямо в глаза.

Он в бешенстве вскочил.

– Карательный взвод? Никакого карательного взвода не будет. Я уж позабочусь об этом. Террористов у нас вешают. Они висят в петле с высунутым языком и с мокрыми штанами.

Мне стало страшно.

Ночью, просыпаясь от страха, я прислушивался к чужому хриплому дыханию в тишине. Ужас одиночества… Я старался отогнать грустные воспоминания о прошлом и подготовить себя к расстрелу. Каждый из нас не раз видел расстрел в фильмах. Темные брюки, чистая белая рубашка. Глаза идеалиста. Я знал, как должен себя вести. Не закрывать глаза. Отказаться от темной повязки. Воскликнуть: «Да здравствует Бельгия!» Но к виселице не подготовишься. В фильмах героев не вешают. Пуля делает тебя героем. Виселица – обыкновенным трупом, болтающимся на веревке.

– Ну а теперь отвечай, откуда ты знаешь Роберта Мастерса. И не вздумай на сей раз водить меня за нос. Мне надоело твое вранье.

– Я встретил его, когда он бродил по лесу,- ответил я.

– Ты ездил за ним. Брал для него велосипед и удочки. Он был переодет в гражданское. Ты куда-то заезжал за ним.

– Я встретил его в лесу, спрятал в кустах, потом достал гражданскую одежду и привез домой. Его форму мы закопали.

– Придется сводить его в баньку,- сказал Бос.

Тогда я еще стеснялся раздеваться в присутствии посторонних… Бос снова ударил меня. Габардин стоял рядом и смотрел на меня с деланным сочувствием, прямо-таки с отеческой теплотой. От него несло винным перегаром. Видимо, он пытался залить вином горечь неудачи.

Меня подвели к лежачей ванне, белой, эмалированной. С душем. Приказали сесть в эту ванну, наполненную ледяной водой. Потом повернули кран душа. Полилась ледяная вода. Сверху били беспощадные струи. В голову вонзались ледяные иглы. Перехватывало дыхание. Я ничего не видел и не слышал. Я словно слился с водяными струями. Когда Бос злобно ударил меня хлыстом по лицу, мне показалось, что эта боль не от удара, а от холода.

Прошли часы или минуты – я не знаю. Наконец душ прекратился. В голове стучало, уши горели.

– К кому ты заезжал за Робертом Мастерсом, черт тебя побери?!

– Я встретил… его…- с трудом прошептал я. Еще немного продержаться. Сказать, но не сразу, иначе не поверят.

Снова душ. Холод и боль. Холод – боль. Боль – холод. Череп разламывается от холода. Холод душит. Я широко открываю рот, чтобы глотнуть хоть немного воздуха. Но воздуха нет. Где же предел? Нельзя ошибиться.

Пять раз повторялся душ. Я мог выдержать еще два, возможно три. Но и пяти раз было вполне достаточно. Я решил, что теперь пришло время показать, что им удалось меня сломить.

– К кому ты заезжал за Робертом Мастерсом?

– К Эдгару Молу,- ответил я.- Он прятал его в уборной в песчаном карьере.

Бос удовлетворенно кивнул.

– Вот видишь. Если мы захотим, непременно добьемся признания.

Он и не предполагал, что проиграл.

Да, по ночам я просыпался. Я заставлял себя не прислушиваться к чужому дыханию и тишине. Эта тишина пробуждала мысли об одиночестве и жалость к самому себе. А жалость делает человека слабым. Я гнал от себя воспоминания о доме. О сказочных вечерах с девушкой в лесу у озера. Об удачном улове и о победе в спортивных соревнованиях уличных команд. Я думал о смерти… Тяжело думать о смерти в двадцать два года. Но я был вынужден думать о ней. Я не мог об этом не думать. Ежедневно к нам в камеру приносили эти проклятые газеты. «Народ и государство» – орган предателей из Фламандского национального союза. «Брюссельс цайтунг» – немецкая

брюссельская газета. И почти в каждом номере были сообщения на первой странице в рамке: «Террорист приговорен к смерти». И фамилия. Обвинение в хранении оружия или в помощи вражеским летчикам. А в конце: «Приговор приведен в исполнение».

Днем я не обращал внимания на эти сообщения. Днем я ничего не боялся. Я даже бравировал. Днем в смерть не веришь. И потом рядом был Франеке со своими проповедями самоутешения, Наполеон с его глупыми шутками и нервный лимбуржец. Я говорил: «Буду петь «Брабанконну»[3], когда они начнут целиться в меня».

И все-таки днем я не верил в то, что меня ждет смерть.

Ночами – да, бессонными ночами приходила смерть. Собственной персоной. Холодный пот и дрожь, непередаваемый страх, и где-то в глубине души страстная мольба: о господи, дай мне силы. Пусть меня душит страх, но внешне я должен казаться сильным. Я хватался за слова: любовь к родине, свобода для тех, кто придет после нас…

Непонятно откуда, но мы точно знали, что происходит обычно в камере смертников. Вечером накануне казни приказывают сдать ремень или подтяжки, шнурки от ботинок – тоже. Всю ночь не гасят свет, чтобы приговоренный к смерти до утра не сомкнул глаз. Исключалась любая попытка самоубийства.

Возможно, днем смертники в этой камере тоже не верили, что их ждет конец. А ночью? Какой была их последняя ночь?

Часто мы слышали стук сапог. Он раздавался рано утром, когда на дворе было еще темно и холодно. В такие часы почему-то всегда дрожишь от холода. А может, этот холод в нас самих? Мы слышали стук сапог, напоминавший барабанную дробь из фильма о Марии-Антуанетте. Мы знали, что этот стук сапог провожает кого-то на смерть.

И я представлял себе, как все это будет. Вечером предупредят, что на следующее утро – моя очередь.

Как поступят остальные? Их пока еще не трогают, они еще надеются. Наверное, постараются скрыть свой страх.

– Выше голову, Людо.

– Дорогой Людо, мы еще сыграем в картишки в аду.

– Не успеешь и глазом моргнуть, как все кончится. Это гораздо быстрее, чем уломать девушку.

Найдется и такой, кто скажет:

– Они ответят за это, Людо! Рано или поздно эти сволочи получат сполна.

А что скажешь ты сам? Скорее всего, промолчишь. Улыбнешься и попытаешься довести до конца свою роль.

Однажды я прочел где-то, что перед казнью смертник имеет право на сытный завтрак. Я помню, там было написано: «Приговоренный хорошо позавтракал».

Но тебе нет никакого дела до этого чертова завтрака. Твое единственное желание – жить! Ты хочешь быть сильным, встретить их винтовки язвительной улыбкой, отказаться от повязки на глаза.

Но все это до той минуты, пока смерть не стала реальностью… А реальной ее делает немецкий поп.

Утром дверь камеры отворил унтер-офицер отделения. Мы прозвали его Фрицем за типично немецкую физиономию. Кроме этого, мы дали ему еще одну кличку: «Кривой», так как одно плечо у него было выше другого.

Я, как положено, выкрикнул свою фамилию. Затем заявил:

– Господин унтер-офицер, я хочу говорить с пастором.

Я сказал «пастор», так как не знал немецкого слова «священник».

Фриц почувствовал, что я не в себе, и решил немного посмеяться надо мной. Иногда он был не прочь пошутить, этот Фриц.

– И что это тебе вдруг вздумалось поговорить с пастором? – спросил он, скорчив хитрую физиономию.

– Я должен ему кое-что сказать,- ответил я угрюмо и смущенно.

– Почему обязательно пастору? Почему не мне? Разве я не заменяю тебе отца и мать в пятом отделении?

Я уже жалел, что затеял этот разговор. Но в таких случаях невозможно идти на попятную. Я покачал головой.

– Нет. Я должен поговорить с пастором.

– Почему именно с пастором? Меня бросило в жар.

– Чтобы попасть на небо,- ответил я в отчаянии.

– Попасть на небо? – удивился Фриц.- За что тебя посадили?

– Не знаю, господин унтер-офицер, – сказал я, испугавшись, что он, узнав правду, будет обходить стороной нашу камеру, когда начнет раздавать «добавку» – остатки супа, которые делили на две-три камеры.

– Это нам уже известно. Все вы невиновны. Еще ни в одной тюрьме не сидело столько невинно пострадавших, сколько в этой.

Он наблюдал, как мы получали хлеб, жидкую бурду, именуемую кофе, и по четыре кусочка сахара. Потом вышел, захлопнув дверь.

Не прошло и получаса, как дверь в нашу камеру распахнулась. Мы не успели даже вскочить и выкрикнуть свои фамилии, как он заорал. Он дрожал от ярости. Меня всегда

поражало, как немцы, мгновенно распаляясь, легко приходили в бешенство.

– Паразит! – орал красный от ярости Фриц, и губы у него тряслись.- Ты помогал англичанам! И ты собираешься попасть на небо? Нет, нет, нет, нет!

Он так хлопнул дверью, что содрогнулось, наверное, все здание. Мы слышали, как он бежал по коридору, топая сапогами и выкрикивая «нет, нет, нет…». Это «нет» долго катилось по коридорам, пока не растаяло в тишине.

Мы растерянно смотрели друг на друга. И вдруг я громко, с облегчением, расхохотался.

– Идиот! Вздумал искать утешения у мофа! Я знаю, что должен делать… Если вы собрались киснуть здесь до тех пор, пока тоска не задушит вас, то на меня не рассчитывайте. Я в этом не участвую. Если нам не суждено выйти отсюда живыми – ничего не поделаешь. Но в любом случае я постараюсь сохранить хорошее настроение. И скорее сдохну, чем обращусь к Кривому за милостью.

Несколько вечеров мы до колик смеялись над этим Фрицевым «нет, нет, нет». Не помню, когда еще я так много и громко смеялся. Мы не могли удержать слез, лившихся из глаз. И смех слышался не только в нашей, но и в других камерах.

Я придумал, как реабилитировать себя перед товарищами по камере. Утром мы услышали, как одна за другой отворяются двери камер и как заключенные выкрикивают свои фамилии. Я радовался своей выдумке. Сердце учащенно билось. Я ждал с волнением.

Дверь отворилась. Все выкрикнули свои фамилии. Я последним громче всех крикнул на грубом фламандском диалекте: «Людоед!» На диалекте это слово созвучно моей фамилии. В случае разоблачения я мог сказать, что Фриц просто ослышался.

Но Фриц ничего не заметил и одобрительно кивнул. Я чувствовал, что все испытывали в эту минуту испуг. И у самого сердце замерло. Когда дверь заперли, мы бросились друг к другу. Никогда еще в нашей камере не делили хлеб так спокойно. Мы даже не спешили есть и то и дело отрывались от еды, чтобы посмеяться.

– Я здорово перетрухал,- сказал лимбуржец.

– Он еще никогда так хорошо не стоял по стойке «смирно»,- похвалил меня Липпефелд.

– Ну и номер ты отколол, сопляк! – удивился Наполеон.

На следующее утро, когда дверь камеры снова отворилась перед завтраком, я, разумеется, повторил вчерашнюю сцену. Но

на сей раз меня затмили. В соседней камере кто-то обозвал Кривого «жуликом».

Мой пример оказался заразительным. Появился новый вид развлечения. Каждое утро град ругательств сыпался на голову Кривого. Но он продолжал одобрительно кивать в ответ, и это делало игру еще азартнее. Он стал гордиться своим пятым отделением, полагая, что его заключенные отличаются особым рвением.

Это продолжалось до тех пор, пока один из заключенных не придумал ничего лучше, как выкрикнуть: «Смеерлап!»

Каждый немец в Антверпене прекрасно знал это ругательство. Фриц остолбенел от изумления. В коридоре и в камерах стало тихо. Фриц влетел в камеру, схватил заключенного за шиворот и начал трясти его изо всех сил.

– Как твоя фамилия, Шмеерлап? Как твоя фамилия, Шмеерлап? – повторял он в бешенстве.

Мы смеялись. Смеялись до слез. Смех звенел по всему коридору.

Да, такой была тюрьма на Бегейненстраат.

Проверка камер проводилась регулярно: еженедельно, иногда два раза в неделю и всегда неожиданно. Четверо или пятеро здоровенных немцев врывались в камеру, топая сапогами и крича для острастки. Все боялись этой проверки. В каждой камере всегда можно было обнаружить что-нибудь запретное. Мы нарочно нарушали тюремные правила: раз мы могли делать что-то «запретное», значит, нас еще не сломили.

В нашей камере такой запретной вещью был огрызок карандаша. Вероятно, и в остальных камерах имелось что-нибудь в этом роде. Хотя письма практически никогда не доходили до адресатов, нам разрешалось писать их каждые четырнадцать дней. Отрезать кусочек от карандаша, который нам давали для этой цели, было нелегкой задачей.

На Бегейненстраат люди быстро осваиваются. Мы по шуму в коридоре догадывались, что там происходит. Заключенных вызывали из камеры и ставили лицом к стене. В камере мгновенно все переворачивали вверх дном. Перед возвращением в камеру заключенных тщательно обыскивали. Огрызок карандаша мы прятали по очереди. Ответственный за сохранность карандаша мог спрятать его в камере. Но мы этого никогда не делали. Огрызок засовывали под мышку, в рот, прятали под одеждой.

Я терпеть не мог этих проверок и старался всячески избегать их. Вместо унитаза нам служили металлические ведра, которые назывались «парашей». Немцы испытывали почти животное отвращение к сидевшим на параше. В тесных камерах, куда

помещали пятерых мужчин, смрад стоял невыносимый. Во время одной из проверок я уселся на парашу почти перед самой дверью. Крышки двух других оставили открытыми. Мы уже привыкли к запаху. Когда немцы, крича и ругаясь, вломились в камеру, они замерли у двери, удивленно уставившись на меня, а потом с бранью захлопнули дверь.

Три раза нам везло.

В четвертый раз унтер-офйцер заорал на меня: – Что ты все сидишь, идиот! И я ответил, желая продемонстрировать свою храбрость товарищам:

– Это от здешней пищи, господин унтер-офицер.

Немец выругался и погрозил мне кулаком.

В следующий раз никто не успел произнести ни слова. Унтер-офицер выхватил из-под меня парашу, содержимое разлилось по камере, а я очутился на грязном полу.

Три дня в камере стояла невыносимая вонь, и мы вынуждены были отказаться от этой системы.

Посылки из дома.

Большинство заключенных получали посылки. Через каждые четырнадцать дней мы засовывали грязное белье в мешок, на котором стояла метка с фамилией и номером, а вместо него получали мешок с чистым бельем. Разрешалось передавать еще кое-что. Например, соль – в каждой камере имелись килограммовые запасы соли. Или бульонные кубики, их мы клали по утрам в наш эрзац-кофе. Вкус у этого напитка, надо сказать, был отвратительный. Нам передавали табак. В камерах разрешалось курить сколько угодно, и там всегда висело облако дыма. Одно было осложнение: спички. Передавать спички запрещалось. Каждому заключенному разрешалось покупать дюжину спичек раз в неделю в тюремной лавке. Этих спичек не хватало, поэтому мы навострились делить одну спичку пополам. Мы резрезали ее вдоль бритвенным лезвием. Работа была тонкая, и, если головка отскакивала, все набрасывались на виновного с руганью.

В посылках из дома передавали иголки и нитки. Мы развлекались тем, что отрывали пуговицы и снова пришивали их.

Передавать продукты, разумеется, запрещалось. Исключение составляли важные особы и те, кто согласился служить у немцев. Зато их околпачивали: продержав несколько дней в тюрьме, выпускали лишь после уплаты крупной суммы.

На наши деньги мы могли купить раз в неделю пачку сигарет, дюжину спичек и ежедневно – бутылку пива и нацистскую газету.

Нацистские газеты мы покупали потому, что только из них могли узнать о военных событиях. Пиво покупали все. Наполеон

брал четыре бутылки в неделю. Но сам он пиво не пил, а отдавал его нам по воскресеньям. Этот добрый малый оставлял ежедневно по маленькому кусочку хлеба, а в воскресенье отдавал мне, как самому младшему.

– Твой старик – грубый человек,- начал Габардин.

– Отвечай, что делал твой отец в вашей бандитской группе, – сказал Бос.

– Он не имеет к нашему делу никакого отношения, – ответил я.

– Ах так? – воскликнул Бос и слегка усмехнулся.- За что же мы тогда взяли его?

Я потерял самообладание и сорвавшимся голосом крикнул:

– Он тут ни при чем!

– Роберт Мастере прятался в твоем доме.

– Отец не знал об этом. Он избил бы меня, если б узнал. У нас большой сад…

– Мастере ночевал не в саду.

– Я уже говорил вам. В саду есть маленький сарай, там он и ночевал. Я носил ему еду. Все это я вам уже рассказывал.

– И все же мы взяли твоего старика,- произнес Бос с издевкой.- Приведи его сюда.

Отца втолкнули в комнату. Редеющие волосы. Старомодный высокий воротничок. Как всегда, съехавший набок галстук. Багровое лицо. Видимо, его мучили. Может быть, и его водили в душ.

Мы с отцом никогда не были слишком сентиментальными в выражении своих чувств; и теперь только молча смотрели друг другу в глаза. Я заметил, какие широкие и сильные плечи все еще были у него. А он, наверное, заметил, как я исхудал в тюрьме.

Бос наблюдал, постукивая бамбуковым хлыстом по руке.

– Ну вот, старый и молодой мерзавцы вместе,- сказал он.

Я разозлился.

– Мой отец ничего не знает!

– Если он ничего не знает, то он старый дурак,- сказал Бос. – Он твой отец, а ты еще сопляк, значит, он отвечает за тебя и за все, что происходит в его доме.

– Мастерса не было в нашем доме, я уже говорил вам. Он прятался в саду и ночевал в сарае. Дело было летом. Отец ничего не знал.

И тут мой отец, мой старик, подошел ко мне. Он положил руку мне на плечо. Он был невысокого роста, но в тот момент он показался намного выше.

– Я знал все,- произнес он.- И я не препятствовал сыну.

«Идиотская гордость»,- подумал я. Но я гордился своим

стариком. Никогда не чувствовал его своим отцом так, как в тот момент.

Наполеон питал ко мне слабость. Иногда он утешал меня – просто, как умел. Мне думается, он один догадывался, что происходит со мной по ночам.

– Ничего не бойся. У них все рассчитано. Они целятся прямо в сердце и убивают сразу, наповал. Ты даже не заметишь. Такие, как ты, попадают на небо, если оно есть. И никакого пастора-мофа для этого не требуется.

Он выдумывал самые нелепые истории:

– Каждую ночь я уползал из траншеи. Я брал с собой только бритву. Держал ее в зубах. Иначе я не мог бы ползти. Я добирался до немецких окопов и быстро перерезал глотки двоим-троим. Чирк…

При слове «чирк» он быстро проводил ногтем большого пальца по горлу и делал это с таким усердием, что на шее оставалась красная полоса.

На пасху Наполеон дал каждому из нас по кусочку хлеба. Он копил этот хлеб несколько недель.

– Ну вот, теперь и у вас счастливая пасха, – радовался он.

Когда его отправляли из тюрьмы в лагерь, он прошептал мне на ухо:

– Какое счастье, черт побери. Они не знают, как я перерезал глотки их солдатам.

Питание на Бегейненстраат было сносное.

Кусок хлеба утром – 225 граммов. Миска супа на обед. Миска супа на ужин. Днем мы обычно получали суп из свекольной ботвы – очевидно, использовались отходы с сахарного завода. Запах у него был вполне сносный, да и вкус тоже ничего. Вечером меню было разнообразнее. Иногда на ужин давали красную капусту – миску красной капусты, полувареной, и я был одним из немногих, кто не мог осилить эту миску, так как после пяти ложек от этого «блюда» начинало тошнить. Раз в неделю давали так называемый лягушачий суп – прозрачную массу, похожую на желе из лягушатины. Раз в неделю мы получали соевый суп, самый невкусный, но мы ждали его, так как он был самый питательный.

Однажды я обнаружил в своей миске коровий глаз.

– Смотрите-ка, мясо.

Они стали давиться, но к моему изумлению, есть не прекратили.

На Бегейненстраат мы пользовались «телефоном». Эту роль выполняла отопительная труба. Техника была простой. Сначала завешивался полотенцем дверной глазок – ведь «разговаривать по телефону» запрещалось. Затем, прижавшись ухом к трубе и

приставив руку ко рту, начинали говорить. У каждой камеры был свой «номер». Он состоял из набора коротких и длинных ударов ложкой по трубе. «Номером» нашей камеры был сигнал «два длинных – один короткий». Можно было слышать друг друга «на расстоянии» четырех-пяти камер, дальнейшая связь обеспечивалась «ретрансляцией». Так как наша камера находилась примерно в середине коридора, то мы и являлись «центральной станцией». Самым любимым занятием стало у нас дежурство у трубы.

Я поддерживал регулярную связь с Луи Мертенсом. О деле мы, разумеется, не говорили, так как любой мог подслушать наши разговоры. Каждый день Луи придумывал идиотские истории, одна хлеще другой. От его рассказов у нас прямо слюнки текли. В тюрьме становишься наивным, иной раз даже подумаешь: а вдруг все это правда. Луи рассказывал, что у них в камере появился барон, который ежедневно получал два кило мяса. В другой раз к ним якобы поселили крестьянина, у которого, представьте себе, было четыре буханки ржаного хлеба и окорок. Чаще всего мы разговаривали о еде, хотя тогда еще не знали, что такое настоящий голод.

– А теперь расскажи, кто был с тобой, когда ты ездил за оружием в Керкховен,- настаивал Бос.

– За каким оружием? – спросил я слишком поспешно.

Очевидно, им удалось кое-что пронюхать. Оружие мы доставали у одного крестьянина, который как-то за двадцать килограммов зерна продал мне пистолет «люгер» (зерно я, разумеется, украдкой взял дома). В другой раз у крестьянина оказался разобранный пулемет с английского самолета. И боеприпасы. Боеприпасы были в порядке, а вот с пулеметом мы попали впросак. Правда, ни я, ни мой друг Вик Неелс из Балена в этом не были виноваты. Мы были примерными бойцами Сопротивления, но в оружии – не считая пистолета и винтовки – разбирались плохо. Пулемет был в разобранном виде. Я рассчитывал на Эдгара Мола, который мог собрать пулемет. Как и в прошлый раз, я расплатился ворованным зерном, только теперь пришлось отдать пятьдесят килограммов. Я приехал в Керкховен на велосипеде и таким же путем вернулся обратно. Эдгар Мол никогда так не смеялся, как в тот раз – при виде нашего «пулемета». Я обратился к могильщику из нашего города, тоже участнику Сопротивления, и мы спрятали «пулемет» в одном из склепов. Всякий раз, когда мы собирались вместе, Вик и я становились мишенью для всеобщих шуток из-за этого случая, и я твердо решил никогда больше не покупать пулеметов. Об этой нашей операции знали многие, и мне было трудно догадаться,

кто раскрыл ее Босу. Во всяком случае, он явно не знал, кто был в тот раз со мной, и я опять назвал Эдгара Мола.

Бос ударил меня по щеке.

– Не ври, мерзавец. С тобой был молодой парень низенького роста.

Я повторил, что это был Эдгар Мол. Меня повели в баню и обрабатывали так, что я решил назвать еще одно имя.

– Со мною был Каликст Миссоттен.- сказал я.

Бос клюнул на это. Если Каликст Миссоттен уже обвиняется в доставке оружия, то мое признание ничего не изменит, считал я. Я сочинил целый рассказ. Будто бы мы получили анонимную записку о том, что в лесу лежит пулемет с боеприпасами, видимо украденный с английского самолета. Мы поехали туда и забрали его. Но Эдгар Мол сказал нам, что пулемет совершенно непригоден, и мы вечером выбросили его в канал. Бос поверил.

Единственное осложнение заключалось в том, что Каликст ничего не знал о моем «признании», а я не мог связаться с ним иначе, как по трубе. Однако о таких вещах по трубе не говорят. Значит, Каликсту предстоит провести неприятный час у Боса. Но иного выхода не было.

Через четыре дня меня снова вызвали на допрос. Бос сказал, что Каликст оказался «дураком» и ни в чем не признался. Бос велел мне передать Каликсту, что он все знает. Я согласился.

Когда Каликста ввели в комнату, он осуждающе посмотрел на меня.

– Что это значит, черт побери? – спросил он.

– Не делай глупостей, – ответил я. – Они нас видели. Им известно, что ты был со мной.

Теперь он смотрел на меня не только осуждающе, но и недоуменно. И вдруг он все понял.

Он скорчил виноватое лицо и что-то пробурчал.

– Ну? – рявкнул Бос.

– Мне нечего к этому добавить,- сказал Каликст.

Бос ударил его. Не очень сильно. Просто так он выражал свое удовольствие.

– Что же ты не признался сразу? Тогда не было бы необходимости вести тебя в баню.

– Я не был уверен, что вы действительно все уже знаете. Не хотелось выдавать его, – кивнул он в мою сторону.

Унтер-офицер в очках уже записывал его показания.

В следующий раз Бос встретил меня, багрово-красный от ярости. Он схватил меня за воротник куртки и начал трясти, а потом потащил по кабинету, методично отвешивая пощечины.

– Ты врал, подлец, – орал он.- Ты все врал! Мы повесим тебя!

Обманщиков мы вешаем!

У меня еще никогда так не горели уши. Я испытывал поистине животный страх. Его бешенство могло означать лишь одно: он действительно узнал всю правду. Видимо, Эдгар Мол арестован и состав нашей организации установлен.

Сначала Бос орал только одно: что я лжец и что меня следует повесить. Тогда я тоже начал кричать:

– Я не врал. Я рассказал все, что знал. Я не понимаю, чего вы хотите.

Наконец он прижал меня к стене и сказал:

– Почему ты ничего не сказал мне о Фернанде, мерзавец.

Фернанд, Фернанд Геверс. Он был моей тенью в организации.

– Я не знаю, – пробормотал я.

– Ты, конечно, не знаешь Фернанда? Ни дороги Мол – Ломмел, так? Ни магазина, так?

При каждом «так» я получал новый удар. Вместе с воротником куртки он прихватил и ворот верхней рубашки, который душил меня.

Оставался один выход. Я начал кричать так же громко, как и он:

– Вы сами сказали, что Геверс вас не интересует, что он вам не нужен. С Фернандом Геверсом я ездил на рыбалку. А с Ванарвегеном играл в футбол. Можете арестовать их. Они ничего не знают. Арестуйте всех моих знакомых. А еще я ел мороженое в кафе «Рубенс» и пил пиво во «Флигере». Берите там всех. Берите всю футбольную команду «Стандард Мол». Всех парней, с которыми я был в Лувене. Не забудьте также пожарную команду Мола.

Фернанда Геверса не арестовали. Господин инспектор уголовной полиции оказался не таким уж хорошим полицейским, каким считал себя.

Приходили и уходили новые соседи. Выпустили Липпефелда. Вместо Наполеона пришел некий Виллемссенс. Ежедневно его водили на допрос. И ежедневно били. Его обвиняли в том, что он прятал в своем доме английских и американских летчиков. Он упорно отрицал это. Но однажды утром мы услышали на зарядке вместо обычного «айн, цвай, драй, фир» – «уан, ту, фри, фо». Виллемссенс почувствовал недоброе. Он забрался на отопительную трубу и посмотрел в окошко. Перед отправкой в германский лагерь англичан иногда помещали в тюрьму на Бегейненстраат. Виллемссенс узнал среди заключенных во дворе своих англичан. Он сразу все понял.

Я услышал также рассказ о двух жителях Мехелена, которых всегда допрашивали отдельно. Эти чудаки упорно утверждали,

что не знают друг друга, до тех пор, пока после долгих допросов и побоев им не показали фото, на котором они стояли в кафе, обнявшись, со стаканами пива в руках.

На Бегейненстраат проводили дезинсекцию.

Легион клопов в нашей камере, казалось, удваивался с каждым днем. Однако эти паразиты оказались разборчивыми. Видно, моя кровь пришлась им по вкусу, и я стал их излюбленной жертвой – все тело покрылось саднящими царапинами и чесоточными волдырями, наполненными водянистой жидкостью. От зуда можно было сойти с ума.

Однажды утром я сказал об этом унтер-офицеру. На сей раз я особенно громко выкрикнул свое «Людоед», чтобы привести его в хорошее расположение духа.

– Господин унтер-офицер, – обратился я к нему. -В камере клопы.

И показал ему свои расчесанные руки.

– По ночам мы не можем спать. Все ночи напролет мы вынуждены бороться с этой нечистью.

Он посмотрел на мои руки.

– И сколько же вы поймали сегодня ночью?

– Штук двадцать, – ответил я не подумав.

– Двадцать? – усмехнулся он. – Только и всего? Нельзя же из-за двадцати клопов проводить полную дезинсекцию.

На другой день я показал ему свою миску, где чернели трофеи прошедшей ночи.

– Господин унтер-офицер,- доложил я.- Сегодня ночью мы задавили двадцать тысяч.

Он с отвращением посмотрел в миску.

– Если вы уничтожили такое количество клопов, то здесь их больше не осталось и нет смысла проводить дезинсекцию.

Но через несколько дней нашу камеру все же обработали. Операция эта длилась сорок восемь часов, и на двое суток нас переселили в другую камеру, в другое отделение, к другому унтер-офицеру. Там мы чувствовали себя неуютно. Мы не знали здешних «номеров телефонов», а через окно можно было видеть лишь уголок двора, где разрешалось по полчаса в день гулять смертникам. Правда, отсюда мы могли переговариваться с женщинами, сидевшими в соседнем корпусе. Приглашали их сходить вечером на танцы или в кино.

Когда мы вернулись в свою старую камеру, наш Фриц вошел к нам. На сей раз он был дружелюбен и спросил с любопытством:

– Ну как, понравилось там, внизу? - Я отрицательно покачал головой.

– Нет, господин унтер-офицер. В вашем отделении лучше.

Там наливали по половине миски, а у вас они всегда полные. Внизу у нас было только три табурета на пятерых, а здесь – четыре.

В обед наши миски были наполнены до краев, а к вечеру унтер-офицер швырнул нам пятый табурет.

– Вот так, сказал он гордо. – Мое отделение лучше всех.

Однажды в камеру все же пришел священник. Он уселся в углу на табурете, и каждый подходил к нему исповедоваться. Остальные сидели в противоположном углу.

Мои четыре товарища уже исповедались, но я не двинулся с места.

Священник удивленно посмотрел на меня.

– А ты? – спросил он.

На нем была серая полевая форма, которую я считал офицерской, и только накрахмаленный воротничок и маленький крест на груди указывали на его сан. Я впервые видел этого человека, но он мне сразу не понравился.

– Я вам тоже нужен? – спросил я угрюмо.

– Конечно, – ответил он. – Я пришел, чтобы помочь вам всем.

Помочь… Я подумал, что он, наверное, «помогает» и тем, чьи шаги мы слышим иногда по утрам. Может быть, и мне он скоро «поможет» таким же образом.

– Начинай, – сказал он, и я нехотя подошел к нему.

Исповедовался я так, для виду: несколько раз солгал, еще какие-то пустяки. Он слушал с благочестивой миной – все как полагается. Пока я говорил, он смотрел на меня совершенно равнодушно, а когда я замолчал, он вдруг насторожился.

– Все?

– А разве этого мало? – нагло переспросил я.

– Ты мог согрешить и без умысла, – пояснил священник. – Ты мог. к примеру, согрешить из-за ложно понятого патриотизма. Представь себе, что ты однажды помог английским летчикам. Они вернулись в Англию, а затем прилетели сюда на бомбардировщиках, чтобы убить твоих и моих соотечественников. В этом случае ты становишься соучастником убийства. А это смертный грех.

– Ничего подобного я не делал, – сказал я. – Правда, я выкрикивал «Людоед» на поверке вместо своей фамилии, но я не считаю это грехом.

Он встал. Я подумал: интересно, передаст он Фрицу мое признание… Он не передал.

Иногда мы получали посылки от Красного Креста. И хотя от них не разжиреешь, каждый раз мы радовались, как дети. За четыре месяца на Бегейненстраат мы раза четыре получали банку

рыбного паштета, два раза – баночку макрели и еще пару раз – коробку шоколадного желе.

Однажды в нашей камере появились сразу четыре новичка. Они ничего не ели – как обычно новички в первые дни. В обед я впервые съел тогда пять литров супа. А потом еще два с половиной литра, так как в этот день была очередь нашей камеры получать добавку. После такого обеда я должен был прислониться к стене – не мог сидеть. И все-таки был голоден.

«Дежурство», придуманное Липпефелдом, стало традицией в нашей камере. Один убирал постели, другой вытирал пыль, третий подметал пол, четвертый мыл посуду, а также чистил параши кирпичом. Пятый должен был чистить медь, что практически означало освобождение от дежурства, так как, кроме ручки на дверце углового шкафа, в камере не было никакой меди.

Когда дверь камеры отворялась, кто-нибудь обязательно хватал кусок кирпича. И каждый немец, появлявшийся в двери, неизменно смотрел на этот кирпич и всегда произносил одну и ту же фразу: «Положи кирпич», боясь, что этот кирпич полетит ему в голову.

Отопительная труба выполняла не только роль телефона, она являлась также инструментом для передачи наших чувств и настроения. По трубе передавались радость, протест, вызов, боль. Во всех камерах оглушительно стучали ложками по трубе, когда пролетали эскадрильи американских и английских бомбардировщиков. По трубе стучали и рано утром, когда в коридоре раздавались шаги – медленные шаги человека, шедшего умирать.

Когда в камеру вошел Жак ван Баел из Тюрн-хоута, я понял, что следствие по нашему делу закончено – мы с ним были из одной группы.

При Липпефелде в камере царил военный режим. С появлением Жака в ней воцарился радостный оптимизм. Он придумал забавную игру: в определенный час начинал куда-то собираться. Долго умывался, тщательно брился, затем одевался. Надевал пальто, шляпу. Иногда он шел в кино или на футбольный матч, иногда ехал домой – в таких случаях у него в руке был «чемодан». Вскоре и я включился в эту игру. Перед сборами мы долго обсуждали маршрут поездки, решали, как поедем: потащимся на трамвае в Тюрнхоут или сразу махнем на поезде в Мол. Я сожалел лишь о том, что у меня не было шляпы. Без шляпы игра была ненастоящей. Я написал домой, чтобы в следующей передаче мне прислали шляпу. «Чтобы предстать в приличном виде перед судом», – писал я. Шляпу мне прислали, и мы продолжали играть. Иногда часами топали по камере,

направляясь к «трамвайной остановке» или на «вокзал».

Мы, разумеется, пристально следили за событиями в Нормандии. В пронемецких газетах постоянно сообщалось об огромных потерях, которые несли англичане и американцы: о потопленных кораблях, о сотнях ежедневно сбиваемых самолетов. И все же эти сообщения не могли скрыть, что линия фронта постепенно отодвигается от моря и что плацдарм союзников расширяется. Шестого июня утром мы уже знали, что союзники высадились на континенте. Никогда еще не раздавалось такого оглушительного стука по трубе в тюрьме на Бегейненстраат. И никогда еще охранники не выглядели такими хмурыми.

На допрос нас больше не вызывали. Мы начали привыкать к тюремной жизни, привыкать к голоду. Страх перед военным трибуналом улегся. Нам казалось, что теперь, когда союзники высадились, с нами ничего больше не случится. Теперь, когда все складывается не в их пользу, немцы побоятся расстрелять нас. Они стали вести себя менее развязно, прекратили орать. По тюрьме ходили разные слухи. Мы предполагали, что союзники продвинулись гораздо дальше, чем сообщалось в газетах. В одно прекрасное утро, думали мы, немцы исчезнут и двери камер откроют союзники. Мы думали, что русские уже в Германии, а не в Польше. Однажды ночью Жак ван Бael разбудил меня: «Слушай, по улицам Антверпена идут танки». Я ничего не слышал. Он тоже. Видно, ему это приснилось.

Мы стали самонадеянными. Считали, что все страшное уже позади, и только ждали момента, когда нас выпустят из тюрьмы.

И вдруг неожиданная новость: всю нашу группу в следующий понедельник отправляют в военный трибунал. Родственники некоторых членов нашей группы наняли адвокатов – им разрешалось вести защиту. Каждый понимал, что это были за адвокаты. Ни один из подзащитных никогда и в глаза не видел своего защитника, их лишь уведомили, что дело будет рассматриваться в военном трибунале. Начались оживленные «переговоры» по трубе. В газетах снова появились сообщения о смертных приговорах. Были они и на прошлой неделе. Но мы их не видели. Не хотели видеть.

Страх ожил снова. Страх, более сильный, чем вначале. Ведь высадка свершилась, и освобождение казалось таким близким… Разговоры по тюремному телефону продолжались. Мы говорили о камере смертников. О последнем дне. О последней ночи. О последнем утре. «Прежде чем они расстреляют меня, я постараюсь напакостить им», – сказал Луи Мертенс.

Днем я держался спокойно, старался сохранять уверенность в своих силах, однако ночью меня мучили кошмары.

В пятницу мы прочли в газете: «К., медсестра из Мола, убита в Меерхауте». Это была «наша» медсестра. Впоследствии мы узнали, что она получила повестку с вызовом в военный трибунал в качестве свидетельницы. Она неосмотрительно показала эту повестку нескольким лицам, в том числе и комиссару полиции Мола, который был членом нашей организации. Она сказала, что боится ареста во время суда. Организация приняла все меры, чтобы убрать ее. Она не попала в руки к нашим, ее застрелил Рик Нюлстманс.

В следующий понедельник нас всех собрали вместе. Видимо, для отправки в суд. Все были спокойны, считали, что самое страшное уже позади.

Оказалось, что нас везли вовсе не в суд, а в тюрьму Сент-Гиллис, находившуюся в предместье Брюсселя. В Вилворде нас застала воздушная тревога. Всех высадили из машины и велели лечь на землю позади вокзала. Послышался гул самолетов. Рядом со мной оказался Луи Мертенс. «Если начнут бомбить, бежим».

Я тоже думал об этом. Каждый из нас с нетерпением ждал, когда начнут падать бомбы.

Но бомбежки не было. Самолеты пролетели мимо.

В Сент-Гиллисе нас поместили в барак, расположенный между двумя корпусами тюрьмы. Барак был обнесен колючей проволокой, за которой несла службу вооруженная охрана. Вся наша группа была настроена оптимистически. Что бы с нами ни случилось, куда бы нас ни увезли, хуже не будет – думали мы. Тюрьма есть тюрьма. Если мы пережили Бегейненстраат, то сможем пережить и другие тюрьмы. Угроза военного трибунала определенно миновала.

Однажды нам приказали выйти из барака, построили и повели к узкоколейке. Началась посадка в эшелоны. Я оказался в чужом вагоне, где оставалось четыре свободных места, и поэтому туда попала первая четверка из нашего списка: Жак ван Баел, Тавернир, Луи Перард – все из Тюрнхаута – и я.

Эшелон отошел от Сент-Гиллиса.

Мы старались подбодрить друг друга, говорили о том, что нас везут на сельскохозяйственные работы.

И только оптимист Жак ван Баел угадал, что нас ждет. Когда мы пересекли границу у Гербешталя, он сказал:

– То, что мы уже пережили,- это ерунда. Вот теперь мы действительно у них в лапах. Теперь начнется ад.

Часть вторая.
Каторжная тюрьма Байрет.

На вокзале в Кёльне пришлось немного задержаться. Нас плотным кольцом окружили вооруженные солдаты вермахта. В здании вокзала оказалось полно народа. Это было неожиданно. Мы считали, что в Германии все вокзалы разрушены и не действуют. Однако поезда прибывали, поезда отправлялись, хриплые громкоговорители передавали объявления. Правда, если судить по этим объявлениям, дела у немцев шли не очень хорошо. «Поезд такой-то прибывает к перрону «А» вместо перрона «В». «Поезд №… опаздывает на час». Мы наблюдали за публикой на вокзале. Мы были знакомы с врагом в форме, в варварской каске, в ненавистных сапогах. Здесь же мы увидели стариков с газетой в руках, женщин с детьми. Если на глаза и попадался молодой мужчина, то он был либо на костылях, либо без руки.

Кто-то в толпе спросил:

– Что это за люди?

Охранник ответил:

– Бельгийские арестанты.

Впервые мы задумались над значением слова «арестант». Чем чаще мы его повторяли, тем безобиднее оно звучало. Мы решили, что нас взяли под охрану просто из предосторожности. Немцы хотели помешать нам действовать против них, они лишь защищались. Нас, конечно, заставят работать. А где нас лучше всего использовать? Конечно же, на фермах. Нужно есть, чтобы вести войну, а все здоровые мужчины на фронте. Да, да, мы будем работать на фермах.

На нас смотрели с любопытством. А одна смазливая девчонка даже раскрыла рот от удивления.

– Ее ухажер на фронте, – шепнул мне Жак ван Баел. – Сейчас я подмигну ей, и она, быть может, пригласит меня к себе домой проверить, каковы бельгийцы на близком расстоянии.

Он послал ей воздушный поцелуй. Спокойные до этой минуты охранники начали орать. Один из них в ярости закатил Жаку звонкую оплеуху. «Негодяй! Он посмел оскорбить немецкую девушку! Мы научим вас почтительности! Не думаете ли вы, черт побери, что попали в Германию как туристы?»

Теперь значение слова «арестант» стало для нас еще более неопределенным. Ну и пусть солдаты орут. Всем известно, что немецкие солдаты самые грубые в мире. Через несколько дней мы попадем на фермы. Там не будет охраны. Солдаты нужны в

Нормандии и в Польше. Крестьяне будут хорошо обращаться с нами, ведь им надо, чтобы мы работали как следует.

Проходя по улицам Кёльна под охраной вооруженных солдат, под косыми взглядами любопытных жителей, мы радовались: на вокзале войны не чувствовалось, зато в городе мы сразу увидели ее следы. Жители выглядели так, словно месяцами недоедали или не высыпались. Кёльн был сильно разрушен. Мы подталкивали друг друга локтями, указывая глазами на руины.

– Так они долго не протянут. Скоро им конец.

– Молчать! – рявкнул охранник.

Тюрьма тоже была сильно разбита. Сколько заключенных погибло под этими обломками?!

Я попал в ужасно грязную камеру вместе с Жаком ван Баелом. Я цеплялся за Жака и его оптимизм. Он всегда был спокоен и бодр и даже о печальных вещах умел говорить с юмором. Камеры оказались гораздо меньше, чем в Антверпене, и значительно грязнее. На стенах нацарапаны имена. Много французских имен и надпись, трижды подчеркнутая: «Рай для клопов». Преувеличения тут не было – в этом мы убедились в первую же ночь.

Но сначала нас поразило то, во что мы давно уже не верили и чего никак не ожидали от немцев, – доброта.

Охранники в тюрьме не были военными. Когда нам в первый вечер раздали ужин, мы едва поверили своим глазам. Это была самая обычная еда, но мы смотрели на нее так, словно ничего подобного не видели раньше. Картошка с цветной капустой! Настоящая ароматная, рассыпчатая картошка и сверкающая белизной цветная капуста. К тому же и порция приличная! Мы мгновенно расправились с ужином и взглянули друг на друга.

– Они, вероятно, решили нас помучить,- сказал Жак.- Слишком вкусно. Теперь мне еще больше хочется есть.

– Давай попросим добавки.

– Ничего, кроме ругани, не получишь, – сказал я.

– Ругань – не самое страшное. Если даже тебя и стукнут разок – тоже не помрешь. Мне просить или ты сам?

– Давай ты, – ответил я.

Он постучал в дверь камеры и тут же, наверное, пожалел об этом – его улыбка была тревожной. В коридоре послышались шаги, потом скрежет ключа в замке. Показался удивленный охранник.

– Что случилось?

– Мы хотим есть, – ответил Жак.

– Хотите есть? – переспросил он таким тоном, словно впервые видел человека, который хочет есть.

Мы оба кивнули головой.

– Не знаю, осталось ли там что-нибудь. Пойду посмотрю.

Он разговаривал с нами просто, словно мы были обыкновенными людьми. Дверь захлопнулась. Мы ждали.

– Даже не ругался…- удивился Жак.

– Но он и не принесет ничего, – сказал я. Однако он принес полную миску картошки и цветной капусты. Мы даже не поблагодарили его и сразу набросились на еду. Опустошив миску, я сказал:

– Я легко справился бы еще с такой же порцией.

– Я тоже. Однажды в мою камеру прибыли четыре новичка. В тот день я съел четыре порции супа. Среди них был один профессор, он сказал, что никогда не поверил бы что такое возможно, если бы не увидел сам.

– У меня тоже был подобный случай. Пять порций и пять добавок. Давай я вызову еще раз.

– Ну уж теперь-то он, конечно, разорется.

– Плевать, – сказал я. – Пусть его хватит удар! Попытка – не пытка.

Я постучал. Снова шаги. Снова заскрежетал ключ.

Охранник ничего не спросил, только заглянул в пустую миску.

– Мы все еще не наелись, – сказал я. Он недоверчиво покачал головой.

– Откуда вы?

– Из Антверпена.

– Что они вас там совсем не кормили?

– Несколько месяцев голодаем.

– В Германии все едят досыта. В Германии вы не будете голодать.

Он оглянулся, потом посмотрел на нас:

– За что вас арестовали?

– Не знаем, – ответил Жак.

– Да просто арестовали, и все, – поспешно добавил я.

– Нехорошо, – сказал немец. – Нельзя заставлять людей голодать.

Охранник отдал нам бутерброды, которые принес с собой из дома.

Мы снова, даже не поблагодарив его, начали есть.

Я помню этого охранника до сих пор…

На следующее утро я чувствовал себя отвратительно. Клопы воспользовались тем, что накануне мы сытно поужинали, и старались вовсю. Меня искусали с головы до ног. Я до крови расчесал руки, грудь и ноги. Чем больше чесался, тем свирепее

становились паразиты и тем отвратительнее я себя чувствовал.

Тюрьма была пересыльной. Мы находились там двое суток, и обе ночи выли сирены. Мы слышали стрельбу зениток и разрывы бомб где-то в городе. В окне вспыхивали отблески пламени. На сей раз мы не радовались бомбежке. Мы думали о том, что глупо было бы погибнуть вот так – в тюрьме, запертыми, как звери в клетке. Впоследствии я разговаривал с друзьями, которые пережили бомбежку в тюрьме Вуппертале – они испытывали то же самое. А позже – в Байрете и Дахау – я слышал, как кричали от страха узники, когда раздавался вой сирены.

Через двое суток нас посадили в эшелон, который сопровождали пожилые солдаты вермахта. Все они были уже немолоды и не казались нам злыми людьми, скорее чем-то недовольными. «Это вы виноваты в том, что на нас, стариков, надели форму, – читали мы на их лицах. – Оставьте нас в покое, и мы оставим в покое вас».

Нам выдали немного еды: по два бутерброда и по кусочку очень мягкого сыра. Садясь в поезд я уронил его и не смог поднять: сыр лежал, как белая звезда, с маленькими дырочками в середине.

Мы ехали в обычном пассажирском поезде, только с решетками на окнах. Пейзаж был чудесный, сияло солнце. Поезд шел по долине Рейна, и мы смотрели на реку, на виноградники, на пшеничные поля и леса. Кто-то сказал: «Такая земля слишком хороша для этих изуверов».

Во Франкфурте поезд простоял до следующего дня. Лечь было невозможно. Никто не мог уснуть. Наконец я устроился в туалете и спокойно проспал там. Правда, за это мне здорово попало утром. Немцы всю ночь ходили по вагонам, считали заключенных. У нас они, естественно, одного не досчитались. А когда меня наконец нашли, наградили увесистыми затрещинами и парой пинков.

Поезд шел дальше. Мы ехали в сторону Нюрнберга и Байрета. Красота ландшафта завораживала нас. Долгие месяцы мы не видели ничего, кроме мрачных тюремных стен. Мы не видели пробуждения весны, не видели, как наступило лето. И теперь мы жадно смотрели на склоны гор, на десятки оттенков пышной зелени. Из окон поезда казалось, что дома радостно улыбаются. На лугах пасся скот, в полях работали крестьяне. Казалось война далеко отсюда.

В Байрете нас высадили. Чудесный старый город, дома в стиле барокко. Повсюду памятники, колонны, фонтаны. Красивые, старые, но очень чистые особняки. Никаких следов войны. Жители почти не обращали внимания на нашу колонну –

мы шли выстроившись по трое в ряд.

Каторжная тюрьма находилась недалеко от города. Несколько дней мы провели все вместе в большой камере. Затем у нас отобрали одежду, составили опись имущества и велели проследить, чтобы его сложили в мешок. Туда же положили подписанную нами опись. Все как полагается. Охранники не были военными – профессиональные тюремные надзиратели. Все среднего возраста. Они носили зеленую форму, и поэтому мы прозвали их «зелеными».

Мне выдали арестантскую одежду: деревянные башмаки, черные брюки с желтыми полосами по бокам и черную куртку с желтыми обшлагами. Я попал в камеру к двум брюссельцам, Жану и Эмилю. Жан был адвокатом. Он говорил без умолку. Эмиль страдал астмой и по ночам очень громко храпел. Оба они прибыли из Эстервегена. Там было не так плохо, но в Байрете оказалось лучше. В Эстервегене заключенные иногда умирали, в Байрете же пока не было ни одного смертного случая. Жан и Эмиль рассказывали мне интересные истории об Эстервегене. Там их заставляли разбирать металлолом: они сортировали его, раскладывая по кучкам. Им удалось собрать два радиоприемника, один из которых они в разобранном виде провезли в Байрет. В Эстервегене заключенные слушали Лондонское радио. Группа бельгийцев прорыла подземный ход и провела туда электрическое освещение. Рыть начали из-под уборной в одном бараке. Немцы обнаружили этот ход, когда он уже был прорыт под стеной лагеря. Никто не говорил «концлагерь», когда речь шла об Эстервегене. Мы, казалось, даже забыли все рассказы о концлагерях.

В Байрете было всего сотни четыре политических заключенных, преимущественно бельгийцев, несколько десятков французов и совсем немного голландцев. Были здесь и заключенные из других стран, главным образом судетские немцы из Чехословакии. Их держали отдельно от политзаключенных.

Рассказывали, что режим здесь был строгий, но не жестокий. Камеры содержались в порядке. Заключенным давали воду, чтобы они поддерживали в камерах чистоту. Кормили недостаточно, но еда была сносной. Иногда били за какую-нибудь провинность, но нельзя сказать, чтобы над нами постоянно издевались.

Я считал, что легко отделался, попав в этот Байрет.

Мы должны были работать – на то и каторжная тюрьма. Но работа оказалась посильной. Рабочие команды направлялись в пошивочную и в сапожную мастерскую. Работа в пошивочной мастерской почему-то считалась самой тяжелой. Тем, кого туда направляли, каждый день выдавали добавочный кусочек хлеба.

На самом же деле работа в сапожной мастерской была намного труднее.

Я попал в сапожную мастерскую, и моя работа в ней, разумеется, не внесла большого вклада в немецкую военную промышленность. Мастерская состояла из двух больших комнат, соединенных узким коридором метров пять длиной. В первой комнате работали судетские немцы. Они занимались ремонтом армейских ботинок, снятых с убитых солдат, а те, что не поддавались починке, утром и в полдень переносили в ящике в другую комнату, где работали мы. Нам надлежало разрезать ботинки, вытаскивать гвозди, класть отдельно хорошие и плохие куски кожи.

Я выполнял одну операцию – вытаскивал гвозди из ботинок. Для этого мне выдали кусачки. Рядом стоял большой бак, куда я бросал гвозди. Постоянного контроля за нашей работой не было, и каждый старался увеличить отходы, портя хорошие куски кожи.

Судетские немцы – антифашисты не считались политзаключенными. Им разрешалось получать газеты. Прочитав газету, они передавали ее нам. В ящике, который судетские немцы – мы называли их «чехами» – приносили политзаключенным, обычно была спрятана газета. Таким образом мы могли следить за военными событиями, которые, правда, освещались немцами тенденциозно. Однако мы научились отделять истину от лжи в бравурных сводках штаб-квартиры фюрера.

Мое место в мастерской оказалось у самой двери в коридор. Я же был одним из немногих, кто знал немецкий, поэтому газета сначала попадала ко мне.

Так нам стало известно, что освобожден Париж, потом Брюссель, что русские взяли Варшаву и подошли к границам Германии. Во время прогулки новости передавались дальше.

В сравнении со страхом перед приговором военного трибунала, с ужасами, пережитыми в Дахау, Байрет кажется мне теперь раем. Но тогда я чувствовал себя несчастным. Впрочем, как и все остальные. Там мы постоянно голодали. Но когда я начинаю вспоминать Байрет, в памяти тут же всплывает какой-нибудь комический эпизод.

В Байрете мы еще смеялись, хотя это и был смех сквозь слезы.

У всех охранников были прозвища. Одного из них очень метко прозвали «Пилюлей».

Пилюля был низенький, толстый человечек, с глуповатым добродушным лицом. Если заключенный хотел попасть к врачу, то должен был обратиться к Пилюле. Врач был из числа заключенных, но считался важной персоной и не общался с нами.

Только избранные могли обращаться к нему. Байрет не был концлагерем, в Байрете еще существовали сословные различия. Пилюля должен был определять, не симулирует ли желающий попасть к врачу. Он, разумеется, разбирался в медицине как свинья в апельсинах, но попасть к врачу, минуя Пилюлю, было сложно. Ведь лучи докторской славы падали и на Пилюлю, и он любил повторять, что видит симулянтов насквозь. Он любил врачевать на свой манер, если считал, что в состоянии сам справиться с болезнью.

Лицо у него было добродушно-глуповатое, но голос звучал резко и подозрительно.

– Что случилось?

– Я заболел, господин вахмистр.

Всех «зеленых» полагалось называть «вахмистрами».

– Что болит?

– Голова, господин вахмистр.

– И из-за этого ты беспокоишь врача? Из-за какой-то головной боли? Думаешь, у него нет другого дела? Голова у него, видите ли, болит! На вот, прими аспирин. Следующий!

Следующий, разумеется, слышал весь этот диалог и понимал, что о головной боли лучше не упоминать.

– Я захворал, господин вахмистр, – говорил он по-немецки.

– Ах, захворал? Лучше бы тебе действительно заболеть. Если ты явился сюда, чтобы увильнуть от работы, то ничего не выйдет. Ну, что там у тебя болит, идиот? Не вздумай врать!

– Не знаю, господин вахмистр. Я чувствую себя скверно.

Больной робко поднимал на охранника глаза, так как не знал, правильно ли он употребил немецкое слово. Немецкий язык, которым пользовались заключенные, был в большинстве случаев далек от литературного.

– Меня знобит.

– Ах так. Знобит его! И поэтому ты идешь к врачу? Думаешь, меня не знобило? Разве я бежал к врачу? Подумаешь, знобит. Вот, прими аспирин. Следующий.

– У меня что-то с животом, господин вахмистр. Вот тут.

Этот пустился на хитрость. Возможно, у него была простуда или грипп. Но аспирин Пилюли ему был не нужен. Сморщившись от боли, он показывал на правый бок. Однажды от аппендицита умер заключенный, получивший от Пилюли аспирин. С тех пор он не решался ставить диагноз брюшных заболеваний и усомнился в эффективности аспирина в таких случаях.

– Иди к врачу. Но тебе не поздоровится, если ты симулируешь. Тогда я сам буду тебя оперировать. Следующий.

– Понос, господин вахмистр. Это вызвало громкий смех

Пилюли.

– Сам виноват. Не надо так много жрать. Вам дают здесь слишком много жратвы. Поменьше бы вас кормили, не было бы поноса. Иди на работу, поганец, да побыстрее. Следующий.

Многие симулировали болезни, чтобы получить аспирин. Его принимали, когда действительно болела голова или зубы. Потом, в концлагере, каждая таблетка аспирина стала драгоценностью, за него давали целую порцию хлеба.

Больше всего Пилюле нравилось резать. Видимо, он считал, что в нем погиб великий хирург.

Дважды я испытал на себе хирургические способности Пилюли и с тех пор не пытался больше попасть к врачу.

Первый раз у меня было воспаление надкостницы. Щека страшно распухла, рот почти не открывался, глотать было невозможно.

Я не произнес ни слова, представ перед Пилюлей, просто показал на раздувшуюся щеку, полагая, что этого вполне достаточно.

– Ну и чудак, – сказал Пилюля. – Из-за такой ерунды идти к врачу. Обыкновенная зубная боль. Детская болезнь. Раскрой-ка пасть.

С трудом я разжал губы. Пилюле этого показалось мало. Он резко развел мне челюсти, от боли у меня потемнело в глазах, затем достал перочинный нож и полоснул по десне. На это ушло не больше секунды. Боль была нестерпимой! Гной и кровь текли по подбородку на мою арестантскую куртку.

Пилюля с довольным видом смотрел на меня.

– Вот так. Нечего тревожить врача из-за какой-то зубной боли. Возьми аспирин. Следующий.

Чудом инфекция не попала в рану. Вскоре боль прошла, и через два дня ранка затянулась.

Во второй раз я попытался попасть к врачу, когда у меня на запястье вскочил багрово-красный нарыв. Он казался безобидным, но резкая боль отдавала в плечо, и две ночи подряд я не мог сомкнуть глаз.

При виде нарыва Пилюля вначале разъярился, а потом захохотал:

– К врачу? Из-за этого? Да ты круглый идиот! Давно бы выдавил его. Я сейчас вмиг разделаюсь с этим прыщиком.

Он быстро вскрыл нарыв. Ножницами. Я заорал, потому что и на этот раз боль была ужасная. Пилюля сказал, что терпеть не может нытиков, и не дал мне аспирина.

На следующее утро рука распухла и покраснела. Меня бил озноб, и я снова отправился к Пилюле.

– Почему же ты молчал, раз это так серьезно? – испуганно пробормотал Пилюля. – Кто бы мог подумать… такой безобидный прыщик…

Он послал меня к врачу. Тот обработал рану, но больше делать ничего не стал. Я промучился две недели.

Вероятно, в каждой тюрьме есть охранник по кличке «Дурак». В Антверпене это прозвище получил ворчливый фельдфебель. Я слышал, что в Эстервегене тоже был свой Дурак.

Дураком в Байрете прозвали высокого, худого, вечно чем-нибудь недовольного охранника с холодным взглядом и злым лицом восточного типа.

Возможно, он умел разговаривать спокойно, но я никогда этого не слышал – он постоянно рычал. Запас слов, с которыми он обращался к заключенным, был крайне ограничен: «бешеная собака», «вонючий заяц», «мерзавец». Его излюбленным выражением было: «Ты и мизинца моего не стоишь».

Он верховодил в сапожной мастерской. Здесь царила жесткая дисциплина. Стоило кому-нибудь оторвать глаза от работы, как он начинал кричать: «Где работа? Вот работа!» И стучал кулаком по столу, чтобы показать, что работу надо искать не в воздухе, а на верстаках.

Из всех «зеленых» он, пожалуй, был единственным, кто бил заключенных. В нем так и кипела ненависть.

Рассказывали, что оба его сына погибли в России, а жена умерла от болезни, которую можно было вылечить при надлежащем уходе и лечении. Но она была уже в том возрасте, когда не рожают детей, а значит, не нужна великой Германии. Врачи, видимо, решили, что лекарства можно с большей пользой употребить для солдат на фронте и для чистопородных девиц в домах деторождения. Однако ненависть этого типа обернулась не против нацизма, а против его жертв.

О Дураке рассказывали также, что за пределами тюрьмы он становился совсем другим. Охранники жили в маленьких домиках недалеко от тюрьмы. Говорили, что Дурак иногда брал кое-кого из заключенных с собой и заставлял работать в своем саду. Он сытно кормил и поил их, давал сигареты.

С первого дня моей работы в сапожной мастерской я и Дурак стали заклятыми врагами.

До меня гвозди из ботинок вытаскивал другой заключенный. Некто Масей или Масюре из Брюсселя. Его одного отправили из Байрета. Некоторые считали, что его приговорили к смерти и отправили в Вольфенбюттель для расправы. Я знал о нем только понаслышке. Он, видимо, был крепким парнем, из тех, что вызывающе смеются, когда их бьют.

Масей-Масюре тоже прилично знал немецкий, и до меня газеты получал он.

Дурак не выносил этого парня и постоянно следил за ним. Его взгляд по привычке всегда был прикован к тому месту за верстаком, где сидел Масей-Масюре, и когда я занял его, то ненависть Дурака автоматически переключилась на меня.

В мастерской были две уборные. Они находились прямо за моей спиной, возле двери, которая вела в коридор к «чехам». В уборных были высокие двери, которые, правда, не доходили до потолка. Во всех тюрьмах справлять нужду приходилось на людях. Кроме Байрета. Тут уборные даже запирались изнутри. Дурак сидел обычно в другом конце мастерской. Утром, как только я получал газету, я сразу же засовывал ее под куртку, быстро вставал, исчезал в одной из кабин и читал, потом рвал газету на клочки, бросал в унитаз и спускал воду.

На все это уходило время. Дурак начинал бесноваться. Я напоминал ему Масея-Масюре – тот тоже ежедневно запирался в уборной. Глаза Дурака загорались. Он смотрел на часы и на дверь кабины. Иной раз он не мог сдержать своей ярости, подбегал к двери, стучал в нее ногами и кричал, распаляясь с каждой минутой, так как не мог достать меня.

– Вонючий пес! – кричал он срывающимся от бешенства голосом. – Только одно и умеешь – сидеть в сортире! Работать не хочешь. Я доберусь до тебя, паршивая собака.

Иногда он давал выход своей злобе – брал ведро с водой, выплескивал ее через дверь в уборную – и тогда сразу успокаивался. Когда я, мокрый как мышь, выходил из туалета, он принимался громко, злорадно хохотать. И заключенные, чтобы не злить его, смеялись вместе с ним. Он принимал их смех за одобрение и несколько дней не придирался ко мне.

Однажды он спросил меня с явным любопытством:

– И почему ты всегда так долго сидишь там?

Я вспомнил, что в таких случаях говорил Пилюле, и ответил:

– Наверное, от слишком сытной еды, господин вахмистр.

Он покачал головой, и я удивился, заметив в его глазах что-то похожее на сочувствие.

– У тебя, видно, плохой желудок?

– Вполне возможно, господин вахмистр,- живо отозвался я.

– Мне кажется, что это из-за зубов,- подумав, произнес Дурак. Он как-то странно засмеялся и со зловещей ухмылкой сказал: – Сейчас пойдешь к зубному врачу. Желудку сразу станет легче, если тебе выдернут зуб.

Я еще ни разу не был у зубного врача, но много о нем слышал.

Заключенные испытывали животный страх перед дантистом. У меня, видимо, было крайне удрученное лицо, ибо Дурак торжествовал победу.

– Да, да! – ржал он. – Я пойду к зубному врачу вместе с тобой. Я сам отведу тебя туда.

Но он не пошел, а в приемный день послал меня вместе с другими несчастными дергать зубы. Об удалении зубов рассказывали самые невероятные истории. Ну, если тебя мучила зубная боль, то еще куда ни шло. Но у меня не болели зубы, и я еще ни разу в жизни не удалил ни одного. Процессия направилась в небольшую комнату, и зловредный Дурак позаботился о том, чтобы я шел последним. Войдя в комнату, мы выстроились в длинную очередь. Нас оказалось человек двадцать. Первый занял место в кресле и вцепился руками в подлокотники. Зубной врач был из «чехов». Двухметрового роста, с широкой грудью и огромными волосатыми руками. На свободе он определенно был либо боксером, либо вышибалой, но уж никак не зубным врачом.

«Чех» не терял времени даром. Его движения напоминали мне старые картинки – так в старину удаляли зубы на ярмарке. Он хватал щипцы, широким размашистым жестом фокусника показывал их нам, затем упирался в пол ногами, и щипцы исчезали во рту пациента. «Врач» зажимал зуб щипцами и дергал на себя, а затем победоносно демонстрировал зажатый в щипцах окровавленный зуб и довольно улыбался.

Об анестезии не было и речи. Пациент вопил как резаный, сплевывая сгустки крови.

Пилюля стоял рядом. Он с интересом смотрел на открытый рот и щипцы. После окончания операции он подгонял пациента: «А ну, быстрее на работу! Держи аспирин. Следующий!»

Подошла моя очередь. Передо мной прошли девятнадцать человек, и я наблюдал, как они один за другим садились в кресло, открывали рот, указывали на больной зуб и вцеплялись в подлокотники. «Дантист» ухмылялся. После каждого вырванного зуба он все больше становился похож на мясника. Он не пытался отодвинуться, когда брызги крови попадали на него. Возможно, он считал, что кровь входит в программу представления. Как только щипцы обхватывали зуб, бедняга в кресле начинал орать. Из широко открытого рта несся лишь один звук: «А-а-а-а-а!» Это «А-а-а-а-а!» скоро перерастало в животный гортанный рев. Тело пациента содрогалось от безжалостных рывков «дантиста».

У меня сердце уходило в пятки, когда несчастные со стоном покидали кресло, вытирая кровь и ощупывая языком пустое место. Они, пошатываясь, уходили, и я видел капельки пота, блестевшие у них на лбу.

Когда подошла моя очередь, я задрожал как осиновый лист.

«Чех» засмеялся:

– Дрейфишь?

Я промолчал. Мне нечего было сказать. Я думал о том моменте, когда начну кричать.

– Показывай свой проклятый зуб,- приказал «чех».

Я пожал плечами. Открыл рот. У меня были совершенно здоровые зубы. «Чех» недоуменно смотрел в мой рот.

– Какой?

– Вытащите какой-нибудь,- промямлил я. Руки крепко обхватили подлокотники, еще влажные от чьих-то ладоней.

– Ну, если тебе все равно, тогда удалю этот,- разозлился чех.

Он выбрал шестой коренной зуб, внизу слева. Рванул и стал тащить, кряхтя и ругаясь. Он уперся ногой в стул, чтобы справиться с трудным делом.

Я услышал свой крик. Мне думается, что я кричал громче всех. Пот лил ручьями. Боль отдавалась во всем теле. Особенно в голове. Казалось, этому не будет конца. «Чех» стал дергать, и я попытался откинуть голову назад, чтобы ускорить операцию. Казалось, голова вот-вот разломится. В ушах отдавался треск. Вдруг зуб поддался, и боль стала такой невыносимой, что я на несколько секунд потерял сознание.

– Вот дьявол! – выругался «чех» и посмотрел на мой окровавленный зуб.

Боль, лишившая меня сознания, тут же снова вернула меня к действительности. Рот был полон крови. Я сплюнул, стараясь попасть в «мясника».

– Быстрее! На работу,- подгонял Пилюля.- Вот аспирин.

Я чувствовал нечто вроде лихорадки, когда нас вели по тюремному двору в сапожную мастерскую. В голове все еще отдавался этот ужасный треск.

Когда я вошел в мастерскую, довольный Дурак ехидно посмотрел на меня. Я нарочно не вытер кровь с подбородка, чтобы разжалобить его. Но он смеялся. Я ощупал языком рану в десне, как это делали другие. Во рту чувствовался металлический привкус. Когда я дергал гвозди из ботинок, каждый рывок отдавался острой болью в челюсти.

Дурак не отходил от меня.

– До тех пор пока ты будешь бегать в уборную в рабочее время, у тебя будут болеть зубы,- внушал он мне.- Не можешь терпеть на работе – в следующий раз поплатишься другим зубом.

Меня охватило бешенство. И упрямство. На следующее утро я вызывающе посмотрел на Дурака и нырнул в уборную. Я ожидал, что сразу же услышу шаги, удары в дверь и брань.

Однако этого не произошло. Я развернул газету. Фронт подошел вплотную. Я читал сообщения, запоминал названия населенных пунктов. Потом разорвал газету, как всегда, бросил в унитаз и спустил воду. Клочки исчезли мгновенно. Газеты последнего года войны были небольшими. Когда я вышел из уборной, Дурак стоял у двери. Оказывается, он подкрался бесшумно. Он был красный как рак и закатил мне оплеуху. Щека запылала, а рана на месте вырванного зуба снова стала кровоточить.

– Паршивая бешеная собака! – орал он.- Кто ты такой? Бельгиец? Вонючий француз?

Я молча стоял перед ним. Чувствовал, как горят мои глаза. Боялся, чтобы не навернулись слезы. Я упорно смотрел ему в глаза, ожидая второго удара.

Изо рта у меня потекла кровь. Дурак заметил это. Взглянул на свою руку, молча повернулся и пошел назад, на свое место.

С этого дня он снова перешел к своим старым методам. Раза два в неделю стучал ногами в дверь и орал, изредка окатывал меня водой из ведра, однако об удалении зубов больше не заикался.

Возможно где-то в глубине его души таилось нечто человеческое.

Эмиль умер. Его сменил молодой француз из района Па-де-Кале. Парень, который совершенно не умел разговаривать спокойно и все время лез на рожон. Это неизбежно приводило к ссорам с Жаном, вспыльчивым адвокатом из Брюсселя. Их ссоры раздражали меня, и я ждал случая, чтобы перейти в другую камеру. Наконец этот случай подвернулся. Меня перевели к голландцу из Антверпена – Франсу ван Дюлкену. Франса арестовали по недоразумению. Когда агенты службы безопасности (СД) явились к ним в дом, в ордере на арест числился ван Дюлкен без указания имени. Тогда они арестовали отца ван Дюлкена, а заодно прихватили и сына. Франс был умным человеком, но производил впечатление несколько наивного, покорного парня. Он ни с кем не дружил. В камере он сидел обычно один, так как никто не хотел жить с ним; каждый всеми способами старался попасть в камеру к своим дружкам. Мне ван Дюлкен нравился, и я стал его товарищем по камере, но получил в придачу еще и задиру-француза. Правда, у нас он был вынужден вести себя спокойно. Как только он начинал шуметь, мы переходили на голландский, и ему становилось неловко – он думал, что мы говорим о нем, и затихал.

Любимой темой Франса ван Дюлкена была еда. Он все время

говорил о ней – о существующих или выдуманных блюдах. Он составлял меню роскошных обедов, которые мы устроим, когда выйдем на свободу. Это было одним из наших развлечений. Я охотно участвовал в этой игре. Француз тоже. Мы делились друг с другом рецептами, которые в большинстве случаев придумывали сами. Все блюда были пикантными, с уксусом и перцем, с мясом, с селедочкой и густым соусом. Француз распространялся о тортах, которые пекли у него на родине. Торты эти состояли из нескольких слоев. Нижний всегда был из теста. Особого теста, как говорил он. Сверху – слой сыра, потом ветчина, сливки и, наконец, джем. Просто фантастика! Франс злился. Он говорил: «Такого не может быть». В ответ на это француз говорил: «Тебе не понять. Это особый торт». А я мечтал о новом сорте хлеба. Я думал о том, как приду к какому-нибудь пекарю и предложу ему свой рецепт хлеба и как этот пекарь заработает на этом кучу денег.

Франс ван Дюлкен был невезучий. Если где-то обнаруживался непорядок, а он находился поблизости, то оплеухи неизменно доставались ему. Если во время прогулки с повозки около кухни падала картофелина, то он никогда не успевал подобрать ее. Если охранник бросал окурок рядом с ним, то его всегда опережали другие. Франс ван Дюлкен научил меня использовать листья и орехи дикого каштана, росшего во дворе тюрьмы, где нам разрешали гулять по полчаса в день.

Листья сушили на отопительной трубе в камере, а потом мелко растирали, и получался табак. У самодельных сигарет был отвратительный вкус и запах, но мы уверяли друг друга, что табак отличный и что только завзятый курильщик может отличить его от настоящего. Даже разносчики еды жадно вдыхали воздух, когда по утрам открывали нашу камеру. Один разносчик из Дендермонде был твердо убежден, что у нас припрятан табак. Однажды я сказал ему, что мы можем обменять немного табаку на буханку хлеба. Он принес нам буханку, и мы дали ему часть нашего запаса растертых листьев каштана. Больше он к нам за табаком не обращался… Но буханка хлеба осталась у нас.

По рецепту Франса ван Дюлкена мы делали также нюхательный табак, которым я лечил простуду и насморк. Для него использовались плоды каштана. Мы их тоже сушили на трубе, а потом растирали в мелкий порошок. Понюхав такого зелья, человек начинал чихать так, что стены камеры гудели.

Листьев и плодов каштана мы могли собирать сколько влезет. Ни один из охранников не обращал на это внимания. Они считали, наверное, что мы едим эту пакость.

Раздобыть еду было труднее. Окна кухни выходили на улицу.

Они были открыты и зимой и летом, и запахи пищи дразнили нас. Перед кухней всегда стояла повозка с капустными листьями. Иной раз удавалось стянуть такой лист и спрятать его под куртку, а потом мы по-братски делили его в камере. Но шансов на успех почти не было. Как только добыча оказывалась в руке, подбегал охранник и бил заключенного до тех пор, пока лист не падал на землю. Поэтому мы совали трофейный лист сразу в рот. За это тоже били, но тут хоть что-то перепадало.

– Вот вам, вегетарианцы! – произносил Дурак, сопровождая свои слова затрещинами.

Вскоре француза увели от нас, а вместо него в камере появился Иозеф Бонвуасин из Лейка, робкий провинциальный парень.

Таким образом я оказался в компании с двумя «странными» людьми. Наверное, тюрьма всех делает немного странными, но странности замечаешь только у других, у себя же самого их не видишь. Прежде я всегда сразу съедал свою порцию. Но общение с Франсом ван Дюлкеном и Иозефом Бонвуасином научило меня терпению. Франс ван Дюлкен ел страшно медленно, и это было одной из причин того, что никто не хотел сидеть вместе с ним в камере. Когда ты уже съел свой хлеб, невыносимо смотреть на то, как он еще полчаса продолжает жевать.

С появлением Иозефа Бонвуасина мои терзания стали еще мучительнее. Если Франс ван Дюлкен страдал «комплексом жевания», то Иозеф – комплексом набожности.

Иозеф Бонвуасин молился перед куском хлеба утром, перед обеденным супом и перед куском хлеба вечером. Это тянулось бесконечно. Он клал перед собой кусок хлеба или ставил миску супа и молился. Руки молитвенно сложены, губы шевелятся, глаза подняты вверх или опущены долу. Иногда он вскидывал голову, видимо, чтобы убедиться, что бог его слышит. А потом снова смотрел на еду. Мы же смотрели на него, переводили взгляд со своей порции на его и ждали, когда он кончит. Сначала мы пытались есть, не дожидаясь его, но это было мучительно. Голод кажется еще сильнее, когда видишь, как едят другие.

После мук, связанных с ожиданием, пока Йозеф закончит свой религиозный ритуал, нам надлежало приспособиться к ритму Франса – к его манере еды. Сначала он резал свой хлеб на множество крошечных кусочков. Он делал это медленно и тщательно, стараясь, чтобы все кусочки были совершенно одинаковыми. Он вырезал ровные-ровные кубики. После этого он клал их один за другим в рот, с большими паузами, и начинал жевать. Поразительно, как долго он мог жевать такой крошечный кубик! Когда же наконец Франс проглатывал кусочек, он

похлопывал себя по животу и приступал к следующему кубику.

Бонвуасин ждал. Он ждал, когда Франс возьмет свой последний кусочек. Тогда он быстро съедал свою порцию. Я поступал иначе. Я делил свой хлеб на четыре части. Первый кусок я съедал, когда Франс приступал к еде. Второй кусок я отправлял в рот, когда он съедал четвертую часть своих кубиков, и так далее.

После еды мы обычно разговаривали о том, что нас ждет в будущем. Мы считали, что нам никогда больше не придется жаловаться на еду. Мы будем довольствоваться самой простой пищей. Супом и хлебом. Только чтобы было много хлеба. Однако это не мешало нам продолжать выдумывать самые замысловатые блюда.

Через некоторое время Йозефа Бонвуасина перевели от нас, и я остался один с Франсом. Это была странная дружба. Франс был воинствующим протестантом и никак не мог примириться с моим так называемым безбожием. Он молился так же много, как и Йозеф Бонвуасин, но к счастью, не перед едой. Он молился вслух. И каждый раз он долго молился за меня. Я выходил из себя. Франс не умел шутить. Говорил он очень медленно, словно обдумывая каждое слово, и очень торжественно. Он часто рассказывал о своем отце. Рассказывал, как о живом человеке, хотя я знал, что его отец давно умер. Я тоже рассказывал о своем старике. Франс вспоминал о своей девушке Ханни, а я – о своей невесте. Когда мы узнали все друг о друге, я попросил одного заключенного из сапожной мастерской вырезать из кожи фигурки – так у нас в камере появились примитивные шахматы. В шахматах я был гораздо сильнее его. Кроме того, я очень старался выиграть, он же играл просто ради развлечения. Ему казалось скучным играть впустую. Тогда мы решили расплачиваться продуктами… после войны.

Мы радовались, что лето кончилось. Летние вечера в Байрете действовали нам на нервы. Тюрьма находилась сравнительно далеко от города. Через зарешеченные окна нам были видны мирные дома, выкрашенные в яркие цвета. Ни одной воздушной тревоги. Никаких признаков волнения или страха у людей на улицах. Казалось, никакой войны нет и в помине. В вечерней тишине слышались звуки популярной музыки, передаваемой по радио, раздавались беззаботные голоса игравших мальчишек и девчонок. Каждый вечер мы слышали, как нежный детский голосок звал «мутти» – мамочку. И хотя мы считали немецкий самым варварским и грубым языком из всех существующих, ни в одном из них слово «мамочка» не звучало так трогательно, как в немецком. В летние вечера мы тосковали по дому. Они тянулись

бесконечно долго, пока огненно-красный диск солнца не скрывался за гребнями холмов. В такие вечера мы обычно молчали. Мы мечтали о доме.

В такие вечера Франс был неподходящим соседом. Мне нужен был собеседник, с которым можно было пошутить, рассказать грубоватый анекдот о мофах и фюрере. Или поделиться планами страшной мести.

В конце лета работа в сапожной мастерской остановилась. Странно – ведь убитых немцев становилось все больше, и на полях сражений, наверное, оставалось больше ботинок. Но, очевидно, немцы теперь так быстро удирали, что не успевали снимать ботинки с убитых солдат.

Теперь нам стали приносить обмундирование. Прямо в камеры. Мятую, рваную одежду, часто выпачканную кровью. Бритвенными лезвиями мы распарывали ее по швам и сортировали хорошие и плохие куски. Отходов получалось, естественно, значительно больше, чем годного материала. Скорее всего, эта работа имела целью просто занять нас. Никто нас не контролировал, и охранники были довольны, видя, что груда одежды, брошенная нам утром в камеру, к вечеру превращалась в гору лоскутов. Только потом я задумался над тем, каковы должны быть потери немцев, если в каждую камеру ежедневно приносили кучу одежды, снятой с убитых.

Из пошивочной мастерской, которая пока еще действовала, стали исчезать иголки и нитки. Заключенные передавали их друг другу на прогулке. Мы стали шить себе немецкую форму. Получалось плохо, так как на куртках, которые нам приносили, не было пуговиц, а с брюк снимали пояса. Военные знаки различия были спороты. И все же мы кое-как мастерили форму и прятали ее в тюфяках – на случай, если представится возможность бежать.

О побегах, разумеется, говорили много.

Из сапожной мастерской каждый старался захватить в камеру куски кожи. По вечерам, закончив распарывать одежду, приступали к обработке кожи. Мы учились друг у друга мастерить брючные ремни, портсигары, бумажники. Инструменты имелись в каждой камере.

Работать приходилось только по вечерам. Из-за «Ключника».

Ключником прозвали самого старого из «зеленых». Он дежурил только ночью. Днем в тюрьме было шумно, и охранник мог в любой момент незаметно открыть глазок двери и заглянуть в камеру. К тому времени, когда Ключник являлся на работу, в тюрьме уже устанавливалась тишина, но тогда заниматься шитьем было еще опаснее, так как некоторые охранники владели

искусством ходить по коридорам без шума.

Ключник отвечал за то, чтобы по вечерам и ночью в камерах царили тишина и покой. Выражение лица у него было всегда угрожающее, но это производило комическое впечатление при его полутораметровом росте. Он очень ревностно относился к своим обязанностям. Частенько Ключник, сняв ботинки, неслышно пробирался по коридорам, чтобы подсмотреть через глазок, чем заняты заключенные. Однако ему никак не удавалось подобраться к двери незаметно – он забывал об огромной связке ключей на поясе, которые звякали при малейшем движении. У нас всегда хватало времени спрятать самодельную сигарету или кожаный портсигар. И всякий раз, когда Ключник поднимался на цыпочки, чтобы заглянуть через глазок в камеру, он не замечал ничего предосудительного.

С прекращением работы в сапожной мастерской мы перестали получать информацию о событиях в мире. Об освобождении Парижа мы узнали двумя днями позже. О взятии Вердена догадались на следующий день по разговорам охранников и по их подавленному настроению. Верден имел для немцев историческое значение. Позднее мы узнали, что освобождены Антверпен и Брюссель.

С тех пор новости больше до нас не доходили.

Поползли всевозможные слухи. Слухи-вообще один из характерных признаков тюрьмы. В концлагере их было еще больше. Невероятные слухи, основывавшиеся на неверно понятом слове охранника или на случайно услышанном во время прогулки разговоре. Если ночью вдали слышался гром, то мы принимали его за артобстрел. Если мы видели беззаботно смеявшегося охранника, то немедленно делали вывод, что русские и союзники отступили. Если охранники зверели, нам казалось, что Гитлер снова берет верх. А если немцы разрешали нам стащить картофелину, значит, русские или союзники находились поблизости.

И вот 1 декабря 1944 года рано утром нас выгнали из камер. Мы поняли: случилось нечто неожиданное. Многие захватили с собой поделки из кожи. Я взял ремень и портсигар. Мне повезло – меня не обыскали. Обыскивали тех, у кого оттопыривалась одежда, и, если находили что-нибудь запрещенное, жестоко избивали. Нас согнали в большую камеру, заставили раздеться, а затем выдали нашу прежнюю одежду.

Свобода? И сразу же разнесся новый слух: «Понятно, почему они бесятся. Разве не ясно, что война кончилась? Они вернули нам вещи и собираются выпустить на волю».

Нам вернули чемоданы, чтобы мы уложили свои пожитки, и

затем вывели на улицу. Во дворе стояла вся охрана. Один из «зеленых» вышел вперед. Его голос был полон ненависти. Видимо, только сейчас до этих господ дошло, какой опасный сброд находился у них в тюрьме. Когда нас доставили сюда, мы были простыми арестантами, теперь же, когда нас направляли в концлагерь, мы все превратились в большевиков и тайных убийц.

– Там, куда вас отправляют, вы еще вспомните нас. Здесь для вас был рай, бандиты проклятые, а там ждет ад. Вы направляетесь в концентрационный лагерь.

Заключенные словно дети. Бешенство палачей уже не трогало нас: ведь мы ускользали из их лап. Каждый был счастлив выбраться из тюрьмы, и мы подбадривали друг друга, как в свое время в Антверпене: «Хуже, чем здесь, не будет. Меньше еды они давать не могут».

И подобно тому как в Кёльне мы пытались уяснить значение слова «арестант», теперь обсуждали, что означает слово «концлагерь». Каждый из нас читал перед войной о нацистских концлагерях. О Дахау, Заксенхаузене, Бухенвальде, Флоссенбурге, которые существовали уже в те годы. Но сейчас никто не вспомнил о них. Не хотел вспоминать.

Жан, брюссельский адвокат, пояснил: «Лагерь концентрации – это лагерь сбора. Там они соберут всех нас, чтобы затем отправить по домам».

Мы все ухватились за эту мысль.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, что оптимизм Жана был несколько преувеличенным, мы все же были убеждены, что хуже, чем в тюрьме, нам не будет.

Часть третья.
Дахау.

Мы ехали в обычном пассажирском поезде, скованные попарно. В Нюрнберге нас провели по всему городу – с одного вокзала на другой. К нам подбегали женщины, они ругались и плевали в нашу сторону, дети показывали жестами, что нам надо рубить головы. Мы не обращали внимания. Многие из нас еще не знали разницы между формой солдат вермахта и эсэсовской, но мы сразу заметили, что люди, ждавшие нас у ворот тюрьмы, были совсем не похожи на охранников, которых мы встречали раньше. Все они казались удивительно одинаковыми: на лицах застыло выражение высокомерия, отвращения, пренебрежения и ненависти. В Кёльне Жак ван Баел не смолчал бы, если бы ему плюнули в лицо. Но здесь он молча продолжал идти дальше. Бледный. С плевком на лице. У него даже лысина побелела. Эту лысину он иронически называл «высоким лбом, прикрывавшим палату ума».

Когда поезд вышел из Нюрнберга, уже стемнело. Мы ехали в темноте, по безмолвному, холодному, мрачному миру. Синяя лампа в вагоне почти не светила. Уже в Антверпене и Байрете мы поняли, что немцы отнюдь не благовоспитанные люди. Но лексикон надменных эсэсовцев превзошел весь набор ругательств антверпенских и байретских охранников. Эсэсовцы без конца носились по составу, размахивая плетьми. Мы сидели вплотную, лицом друг к другу, касаясь коленями. И каждый раз эсэсовцы протискивались между нами. Иногда кто-нибудь из них спрашивал:

– За что ты, негодяй, попал сюда? Отвечай!

Те, кто понимал немецкий, неизменно отвечали:

– Не знаю.

В ответ раздавался взрыв хохота.

– Ничего, скоро узнаешь. Там, куда вы попадете, мы постараемся узнать о вас все.

Французы, не понимавшие немецкого, отвечали просто: «Не понимаю».

– Там, куда вы попадете, вас научат понимать все. Вонючий француз!

Нас не кормили и не поили. В Нюрнберге, перед посадкой, выстроили вдоль стены, чтобы мы оправились. Мы с удовольствием сделали это, так как на стене было написано: «Благодарим нашего фюрера».

Поезд остановился в кромешной тьме на маленькой заброшенной станции.

Двери открылись. Перед вагонами нас уже ждали новые эсэсовцы, с собаками.

– Выходи! Не задерживайся!

Нас выталкивали из вагонов. Тех, кто медлил, без всяких церемоний стаскивали с подножек. Люди падали на перрон, их поднимали пинками.

Над головой – безоблачное звездное небо. Очень холодно. Пар от дыхания отчетливо виден в морозном воздухе. Нас оставили скованными попарно, и если один падал от удара кулаком или прикладом, то и второй сразу падал вместе с ним, за что его тут же награждали пинками.

В неясной полутьме я разглядел название маленькой станции: «Дахау». Дальше обманывать себя не имело смысла. Я вспомнил это название. Я читал о Дахау. Но в то время Дахау был для меня лишь названием. Маленьким городком в спятившей с ума стране. То, что происходило в Дахау с немецкими демократами, меня лично не касалось. Нас часто не трогает то, что не касается нас лично. Дахау тогда был для меня всего лишь газетным понятием. Но сейчас, в этот холодный зимний вечер, он стал для меня реальностью.

Я был прикован к французу. Толкнув его локтем, я кивнул в сторону станции.

– Видишь?

– Да, да. Это Дахау,- подтвердил он.

– Концлагерь,- прошептал я.

– Да, да. Адвокат верно говорил: отсюда нас отправят по домам.

– Неужели ты не понимаешь? Концлагерь Дахау.

Он не понимал. Он никогда ничего не слышал о Дахау. Но другие определенно слышали. Я заметил, как они смотрели на название станции, на эсэсовцев и на собак, они поняли, что Байрет еще не самое страшное. Собаки эсэсовцев были похожи на своих хозяев – беспощадные и злые. Они рвались с поводков, оскалив хищные клыки. Эсэсовцы продолжали орать, материться и раздавать удары направо и налево.

– А ну, быстрей, быстрей! Не отставать! Поторапливайтесь! Проклятые коммунисты!

Городок был погружен в темноту. На улице ни души. Кое-где на окнах раздвигались занавески, но лиц не было видно. И очень хорошо – меньше брани и плевков.

Мы уже почувствовали дух концлагеря. Дух жгучей ненависти, безжалостного унижения и уничтожения человеческой

личности. Как нужна была в те минуты каждому из нас товарищеская поддержка!

Свист плетей, лай собак, топот сапог и брань подгоняли нас в течение всего пути, пока мы шли от города к лагерю. Мы шли колонной по четыре в ряд, все еще скованные попарно – двести французов и бельгийцев и бельгийский голландец Франс ван Дюлкен, за которым уже по пятам шла смерть. Я видел это. И он знал это. Франс старался поддержать в себе жизнь молитвами и маленькими кусочками хлеба. В камере он чувствовал себя в относительной безопасности. Здесь он не выдержит И погибнет.

Дорога была узкой. Несмотря на ночной холод, нам стало жарко. Хотелось есть и пить. Все очень устали. К тому же в свободной руке каждый нес чемодан.

Мы увидели лагерь издалека. А подойдя ближе, мы не только увидели его, но и почувствовали его запах. Правда, тогда мы еще не знали, что означал этот тошнотворный ядовитый смрад. Он наводил ужас – первое ощущение страха, одинаковое для всех лагерей. Составы всегда прибывали ночью. И повсюду прибывших встречали яркий свет и этот жуткий запах. Ярко-белый свет ламп и прожекторов был холодным, безжалостным и казался вызывающим в затемненной Германии. Он казался зловещим во мраке зимней ночи и леденящим, так как от него веяло холодом смерти. Ядовитый запах сковывал. Он пронизывал человека насквозь и оставался внутри. Оставался навсегда. От него не избавиться и через десять и через двадцать лет. Он всю жизнь будет тревожить твой сон.

– Быстрей, быстрей! Вас ведут на курорт. Вас ждет курорт. Там мы отучим вас, проклятых коммунистов, от ваших идиотских привычек!

Мы брели мимо больших, похожих на казармы зданий, где, по-видимому, жили эсэсовцы,- к воротам перед зданием пропускного пункта, которые с каждым шагом казались нам все страшнее. «Труд освобождает» было написано на этих воротах. Циничная ложь! Мы знали, что для нас не может быть свободы, пока существуют нацисты.

За воротами мы увидели большой плац. Там нас ждали другие эсэсовцы. С мрачных, черных сторожевых башен на нас были направлены пулеметы. Угрожающе сверкала колючая проволока.

– Шапки долой!

Мы не поняли команды.

– Шапки долой, грязные свиньи! Эсэсовцы подскочили к строю, с руганью начали избивать заключенных. Удары кулаком или плетью, брань развеяли последние надежды.

Одно ругательство оказалось новым для нас: «Крематорская собака». Страшное ругательство… Каждый из нас сразу понял, что означал удушливый смрад над лагерем.

Нас остановили перед дверью. Приказали входить группами по десять человек. Мы догадались, что сейчас отберут вещи, и начали прятать кто ремень, кто расческу, кто несколько сигарет, оставшихся в костюме. Я засунул под мышку перчатки – когда-то мне их подарила невеста.

Меня вызвали одним из последних. За нами наблюдал заключенный в сине-белой полосатой одежде. Здоровый, грубый детина – капо. Но тогда мы этого еще не знали.

– Посмотри, как разъелся этот парень. Может быть, здесь не так уж плохо кормят?

– Спроси у него, что им здесь дают. Кто-то сделал знак детине.

Он увидел, но не пошевелился.

– Ты здешний заключенный? - Угрюмый кивок.

– Как здесь со жратвой? - Парень ухмыльнулся.

– Отлично. Французская кухня. Мы переглянулись. Побои сразу же были забыты, и даже мерзкий запах мы как будто перестали замечать. «Слышали? Оказывается, здесь чертовски хорошая еда. Взгляни на этого парня. Прямо лоснится от жира».

– Следующая десятка. Быстрее, быстрее! Наша очередь. Нас втолкнули внутрь. Встретили пинками, бранью.

– Раздеваться!

В Байрете мы вместо ширмы ставили в камере тюфяк, когда мылись. Теперь мы увидели десять человек, вошедших перед нами, – совсем голых. Мы их с трудом узнали. Теперь и мы стояли нагие. Мы стыдились себя, чувствовали, что мы уже не люди, а скот. Мы избегали смотреть друг на друга. Скоро и наш стыд умрет. Впрочем, стыд умирает не сразу.

Я взглянул на застенчивого Йозефа Бонвуасина и на священника. Они оба съежились, стыдясь своей наготы. Я заставил себя выпрямиться. Они могут как угодно унижать меня, но им не удастся сломить меня внутренне. Не удастся, если я буду сопротивляться. Не в их силах сломить достоинство человека.

Мы сгрудились. Слышно было, как входит следующая группа. Донесся звук снимаемых кандалов, затем приказ: «Раздеваться!»

Двое заключенных под наблюдением эсэсовца принимали одежду и бросали ее в мешки. Я вспомнил Байрет и опись, которую нас заставили подписать. Когда я заметил, что мое пальто бросили в другой мешок, отдельно от остальных вещей, я подумал, что это ошибка, и обратился к эсэсовцу. Как это было

принято в Байрете, я назвал его «господином вахмистром».

– Господин вахмистр, вот мой мешок.

Удар кулака пришелся по губам. У меня закружилась голова.

– Здесь нет ничего твоего. Понял? У тебя здесь нет ничего. Только жизнь, пока она продолжается. Но она продлится недолго. Ты не имеешь права обращаться к солдату СС. Понял? Грязная вонючая собака не имеет права обращаться к солдату СС!

Он толкнул меня к столу, где ждали двое других заключенных и эсэсовец. Там заполнялись карточки.

– Фамилия? Имя? – раздался грубый окрик. Национальность, место и дата рождения, адрес, профессия, вероисповедание, женат – не женат, фамилия отца и матери. Все это надлежало внести в карточку.

Многие из прошедших до меня указывали профессию повара, пекаря или мясника в надежде попасть на кухню. Сначала я тоже хотел назваться поваром. Никому из своих товарищей я не говорил об этом, надеясь, что мне единственному пришла в голову эта блестящая идея. Но все мы месяцами недоедали, и голод заставлял нас всех думать одинаково. Понимая, что эсэсовцам не удастся, видимо, пристроить столько поваров и пекарей, я назло назвался арфистом.

Эсэсовец резко повернулся в мою сторону.

– Кто ты?

– Арфист, господин офицер,- ответил я.- Играю на арфе.

– Господи боже мой,- удивился он, словно никогда не слышал о такой странной профессии.

Нас опять выгнали на улицу. Там, дрожа от холода, уже стояли остальные. Их кожа казалась неестественно белой при свете прожекторов. Слишком белой. Как у покойников. Некоторые уже забыли стыд. Пытались согреться, прижавшись друг к другу. Эсэсовцы и заключенные из лагеря окружили нас.

Улучив момент, когда эсэсовцы не видели, заключенные задавали нам вопросы:

– Откуда вы?

– Из Байрета.

– У вас нет сигарет?

Что за глупый вопрос! Разве не видно, что у нас ничего нет? Я, правда, сберег все-таки перчатки, спрятав их под мышкой.

Когда вышла последняя группа, нас погнали в баню. Снова приказали построиться в две шеренги. Два ряда голых мужчин. Двое заключенных орудовали машинками для стрижки волос. Они стояли около скамейки, на которую каждый должен был сесть. «Парикмахеры» ловко и быстро брили голову.

– Встать! Руки в стороны! Брили под мышками и в паху.

– Повернуться спиной. Нагнуться.

Все делалось одной машинкой. Я вспомнил о перчатках. Мне незаметно удалось передать их Жаку ван Баелу, которого уже обрили. Только его одного я и узнал сразу: его лысая голова совсем не изменилась после стрижки.

После этого «парикмахеры» чистили нас щеткой. Эта процедура была самой противной. «Парикмахеры» стояли около больших ведер с большой грубой щеткой в руках. Нам приказали по очереди снова встать на скамейку. Руки в стороны. Щетка исчезала в ведре, и «парикмахеры» «чистили» обритые места.

Дезинфицирующий раствор нестерпимо жег кожу, часто на этих местах появлялись пузыри. «Чистильщики» хохотали, зная о том, какую боль они причиняют. Они терли нас с садистским наслаждением и смеялись вместе с эсэсовцами, когда мы корчились от боли. Нас часто обрабатывали этой щеткой. Она была страшнее знаменитых двадцати пяти палочных ударов.

После чистки – теплый, почти горячий душ.

Полотенец не было. Когда мытье было закончено, открывали окна, чтобы мы «обсохли» на ветру. Не столько обсохли, сколько простудились.

Нас снова выгнали на улицу и повели в следующее помещение. Там выдавали одежду: рубашку, брюки, куртку и деревянные башмаки без каблуков. Мне достались брюки-маломерки, разорванные спереди и не сходившиеся на животе. Так я проходил недели две, а потом кто-то дал мне обрывок бечевки, чтобы я мог стянуть прореху. Зато дополнительно к маленьким брюкам я получил куртку, которая была настолько велика, что рукава свисали до колен. Вместо обычной полосатой тюремной одежды мы получили клоунское одеяние: синие куртки без воротника с красными рукавами и зеленым крестом на спине. Несколько часов назад мы были похожи на людей, а теперь выглядели шутами.

Когда нас перегоняли в другое помещение, мы напоминали каких-то призраков. Нормально передвигаться в деревянных башмаках было невозможно. Их надо волочить по земле, иначе они сваливались. Мы шли шаркающей походкой, которая становилась все неувереннее от усталости. В этом помещении мы провели ночь – среди котлов и труб, покрытых толстым слоем пыли. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, прислонясь к стене. Разговаривали, а сами искали глазами знакомые лица – людей, с которыми еще несколько дней назад сидели в одной камере или встречались на прогулках в Байрете. И всякий раз, когда кто-нибудь обнаруживал знакомого в лысом бродяге, разговор прерывался.

– Смотри-ка, да ведь это полковник Беквефор.

Жак ван Бael сказал:

– Теперь у нас у всех высокие лбы.

– Как ты думаешь, что они хотят с нами сделать? – спросил я.

– Они собираются сломить нас морально. Походишь пару месяцев в этом обезьяньем наряде, привыкнешь к брани и пинкам изо дня в день и начнешь чувствовать себя обезьяной.

– Надо быть сильными. Мы должны держаться вместе и помогать друг другу, чтобы не пасть духом.

– Не знаю. Мы у них в лапах, они могут сделать с нами все, что угодно. Ругань и пинки не так страшны. Они могут морить нас голодом, могут заставить валяться в нечистотах, могут извести вшами.

– Я никогда не видел вшей,- сказал я.

Франс ван Дюлкен сидел один в стороне. Йозеф Бонвуасин тоже. Они были обречены. У них не осталось сил. У меня тоже было слишком мало сил, чтобы подойти и как-то подбодрить их.

Мы засыпали и снова пробуждались. Кто-то разговаривал во сне, кто-то беспокойно стонал.

На следующее утро мы впервые услышали, как на расположенном поблизости лагерном плацу проводится утренняя поверка, до нас доносились шаги тысяч узников, резкие окрики капо. Затем – тишина. Громкие голоса старост блоков. Команда: «Шапки долой!» – и затем резкий короткий звук – это шапки одновременно хлопнули по ногам.

Нас выгнали на улицу. Светало, и лампы горели уже не так ярко, как ночью. С наступлением дня лагерь казался не таким зловещим. Широкая аллея молодых тополей делила лагерь пополам. Слева и справа стояли длинные низкие бараки. Я вспомнил рассказы об Эстервегене. Подземный ход и радио… Может быть, здесь не так страшно. Если мы будем постоянно находиться в бараке, а не в запертой камере, если будем иметь возможность разговаривать друг с другом, то можно стерпеть более грубое, чем в тюрьме, обращение.

Мы не очень задумывались над тем, что нас ждет. Зябко жались друг к другу, окоченевшие от холода и ослабевшие от голода. Со вчерашнего утра нас не кормили. На крыше кирпичного здания огромными буквами было написано: «Есть лишь один путь к свободе. Его вехи: послушание, усердие, честность, порядок, чистота, трезвость, правда, самоотверженность и любовь к родине». Это было написано для того, чтобы постоянно напоминать нам о том, что мы лишены свободы.

Подул ветер, и на противоположной стороне лагеря, за

проволокой и шестью вышками, поднялся черный дым – дым, чернее, тяжелее и гуще которого я еще не видел никогда в своей жизни. Все смотрели на этот дым, и никто не произнес ни слова.

Мы долго стояли на плацу. На широкой аллее началось движение. Лагерная аллея… Мы старались не смотреть по сторонам. Возможно, каждому из нас хотелось оставаться в неведении.

Подбежали эсэсовцы с собаками. Они пинками выравнивали строй. Двадцать рядов по десять человек. Началась поверка. Первая и последняя в Дахау перекличка, когда назывались наши фамилии. Потом мы все превратились в номера. Заключенные, фамилии которых были названы, переходили в новый строй. Трижды выкрикнули фамилию «фон Эсконте», прежде чем я рискнул спросить, не меня ли имеют в виду. Эсэсовец с ревом подлетел ко мне и ударил кулаком в подбородок. Я упал.

Он топтал меня ногами и орал:

– Конечно, это ты, поганец! Твоя фамилия фон Эсконте. Так записано в твоей карточке. Мне наплевать, как тебя зовут. У тебя нет больше имени. Все равно у тебя один путь – в трубу.

Он топал ногами и орал до тех пор, пока я не поднялся. У меня болели ребра и так кружилась голова, что я боялся снова упасть.

– Теперь знаешь, как твоя фамилия, идиот?

– Ван Экхаут,- сказал я.

Я ждал нового взрыва, но он засмеялся:

– Глупый вонючий француз. Даже не знает толком, как его зовут. Да здесь это и не надо. Фамилии больше не потребуются.

Я поплелся в другой строй и постарался встать как можно дальше сзади. Когда один из заключенных, которого обругали вонючим французом, робко заметил, что он бельгиец, его ударили.

– Все равно. Бельгиец – тот же вонючий француз.

Нам выдали красные треугольники с буквами: «Б» – для бельгийцев, «Ф» – для французов, «Г» – для голландца ван Дюлкена. Приказали пришить треугольник на куртки острием вниз. Потом выдали белую нашивку с номером. С этого момента мы превратились в номера.

Я стал номером 134711.

Затем нас погнали по лагерной аллее. Строем по пять человек в ряд. Было приказано идти в ногу, а это не так-то просто в деревянных башмаках – при каждом шаге они сваливались с ног. Нас подгоняли пинками. Не успеешь надеть, башмак – пинок. И так нас прогнали по всей лагерной аллее. Вот тут-то мы по-настоящему познакомились с Дахау. Лагерную аллею укатывали.

Катком служил примитивный тяжелый бетонный вал, который могли сдвинуть с места лишь три-четыре лошади. Но в Дахау хватало людей, и у катка надрывались шестнадцать изможденных мужчин. Они работали в штрафной команде. Вокруг них носились капо и эсэсовцы, осыпая несчастных бранью и побоями. А за катком брели другие заключенные, полные страха и отчаяния. Их роль была ясна. На лагерной аллее позади этой процессии остались лежать мертвые и потерявшие сознание. Мертвецов нетрудно было отличить – они лежали с открытыми глазами и открытым ртом. Заключенные, шедшие за катком, были «резервом» – они должны заменить тех, кто упадет. Ни один из них не обернулся в нашу сторону, когда мы проходили мимо. Головы опущены, как у старой ломовой клячи, которая понимает, что подохнет в ярме. Мы бросили беглый взгляд на их изнуренные лица, на мертвецов же старались не смотреть.

Глядя на этих узников, мы как бы смотрелись в зеркало. Мы уже видели и самих себя в состоянии крайнего изнеможения. Открытые рты… Открытые невидящие глаза…

Нас привели к блоку № 17. Все блоки имели номера: четные слева, нечетные справа. Между блоками с четными номерами проходы просматривались насквозь. Мы видели внутренние дворы и за ними – колючую проволоку. Но проходы между блоками справа были загорожены грубыми заборами и завешены мешковиной.

Первое знакомство с лагерем показалось мне, узнику, еле передвигавшему ноги, целенаправленной шоковой терапией. Человека сразу же превращали в животное, заменяли фамилию на номер, лишали надежды и доводили до отчаяния. Я считал, что немцам эта шоковая терапия в какой-то степени удалась.

Но самый страшный удар ждал нас во дворе блока № 17. Эсэсовцы остались на улице, а мы с этой минуты становились узниками карантинного блока. Блоки в Дахау были рассчитаны на 400 узников, но в тифозные, или карантинные, блоки загоняли до двух тысяч.

Карантинные, «тифозные» или «закрытые», блоки, как их называли заключенные, находились на нечетной стороне. Первоначально все новички поступали в один блок. Но в хаосе 1944-1945 годов, когда германский рейх быстро шел к гибели, лагерь уже не справлялся с потоком заключенных, и все нечетные блоки стали служить карантинными блоками. Позднее они получили название тифозных из-за вспыхнувшей страшной эпидемии тифа.

Узники блока ни о чем нас не спрашивали и вообще не проявили к нам ни малейшего интереса. У всех были худые,

изможденные лица, безучастные глаза, бескровные губы.

Я подумал, что никогда не буду похожим на них.

– Таким я никогда не стану – сказал я Жаку ван Баелу.

Он посмотрел на меня и покачал головой:

– Да мы и сейчас уже почти такие же.

Нас расселили по четырем боксам. Я попал отдельно от Жака ван Баела. Наверное, потому, что в строю мы стояли плечом к плечу, нас нарочно разъединили. Огорчаться по этому поводу не приходилось. Пока кого-то выталкивали из строя, другой уже заступал на место ушедшего. У тебя сразу же появлялся новый друг, а если и его уводили, то ты забывал его и старался вцепиться в следующего. Вместе с нами в барак загнали и старых заключенных. В жилом боксе топилась большая кирпичная печь и было тепло. Вдоль стен стояли скамьи, посредине – длинный стол и табуреты. Но оказывается, нас вели не сюда, а в спальню, где ужасно воняло и было холодно. Воспользовавшись тем, что прибыли новички, старожилы заняли лучшие спальные места. Странно было видеть, как они, тяжело дыша, взбираются на верхние нары. Я хотел было лечь внизу, но один из заключенных схватил меня за руку. Он смотрел на букву «Б» на моем красном треугольнике.

– Фламандец или валлон? – спросил он.

– Бельгиец,- раздраженно ответил я.

– Не злись,- сказал он.- Я тебе добра желаю.

И я безропотно полез за ним – в его близоруких глазах чувствовалась какая-то сила.

Я назвался ему, и он сказал, как его фамилия. Я не запомнил ее, но этот человек – он оказался врачом – сыграл важную роль в моей жизни в Дахау, поэтому в своем рассказе я буду называть его Другом. Он действительно был моим другом. Если он когда-нибудь прочтет эту книгу, то без труда узнает себя. Многое стерла проклятая война из памяти, но есть вещи, которые не забудутся никогда. Может быть, он не считает, что сделал для меня что-то важное. Я же думаю, что он спас мне жизнь.

– У тебя плохое зрение,- сразу заметил ДРУГ

– Неважное,- признался я.- У тебя тоже.

– У меня были очки,- сказал он.- Минус пять. Я сам растоптал их, когда нас переводили сюда из Бухенвальда.

– Рас-топ-тал?

– Да,- подтвердил он. – Побудешь здесь и многое поймешь. Эсэсовцы, например, не терпят «очкариков». Если ты в очках, тебя сразу посчитают интеллигентом, а к интеллигентам у них особое отношение. В Польше они в первую очередь расправились с интеллигенцией. Они называют нас очковыми змеями. Я

предпочел, чтобы меня считали обычным заключенным. Интеллигентов, художников эсэсовцы мучают вдвойне. Они понимают, что уступают нам в образовании и культуре, и поэтому стараются на нас выместить свою злобу. Чем ты занимался до войны, какая у тебя профессия?

– Собственно, еще ничем. Учился до сорок второго, потом бросил, чтобы… Я замолчал, потому что пока еще опасался его. Он понимающе улыбнулся.

– Чтобы участвовать в Сопротивлении, – сказал он. – Здесь нечего опасаться шпиков. Их нет в тифозных бараках. Вот в свободных блоках – дело другое. Там можно заработать пачку сигарет или буханку хлеба, выдав саботажника или раскрыв план побега. Но здесь у людей нет сил даже думать о саботаже или побеге. Ты скоро сам убедишься, как нелегко здесь выжить. Лагерного персонала опасайся. Эти, чтобы сохранить свое место, готовы на все.

– Как здесь кормят? – поинтересовался я.

– Тебе не повезло. Вчера мы получили по двести пятьдесят граммов хлеба, а с сегодняшнего дня, говорят, будут выдавать только по двести. Наверное, так оно и есть. Хорошие слухи никогда не подтверждаются, плохие – всегда. Нас привезли сюда из Бухенвальда, там выдавали по триста граммов, и все вспоминают тот лагерь как рай – по сравнению с этим.

– А хлеб дают утром или вечером? – спросил я.

– Вечером,- ответил он.

– Очень хорошо. А то со вчерашнего утра мы ничего не ели.

– Сюда приходили эшелоны с пленными, у которых дней десять ни крошки во рту не было. Выжили единицы.

– Ты хорошо знаешь лагерь? - Он кивнул.

– Я заболел тифом в карантине. Поправился и меня ненадолго перевели на ту сторону. Сюда я попал как штрафник. Но для меня большой беды в этом нет, я перенес тиф, а он не повторяется.

– У меня в детстве был брюшной тиф, – сказал я.

– Он не дает иммунитета. Здесь свирепствует сыпняк. Но не волнуйся раньше времени. Может, и не заболеешь…

– А есть ли какие-нибудь меры профилактики?

– Почти никаких. Заболеешь, как только у тебя появятся вши. Опасно также пить воду. Но вши страшнее всего. От них нет спасения. Они здесь есть у всех. Самое главное – воля к жизни. И пока эта воля сильна, тебе ничто не страшно. Если хочешь жить – будешь бороться, каким бы слабым ты ни был. Ты же еще молод!

– Двадцать два. В следующем месяце исполнится двадцать три.

– У тебя больше шансов, чем у меня. Чем моложе человек, тем больше у него шансов выжить. Нельзя сдаваться. Прекратишь борьбу – тогда конец.

– Я хочу бороться,- сказал я. – Но одна воля – не очень-то сильное оружие при двухстах граммах хлеба.

– Надо бороться с самим собой. С собственным малодушием. С тоской по дому. Нельзя думать о доме, надо думать о дне возвращения домой. Нельзя думать о войне, надо думать о победе. Надо верить в это, верить, что мы победим и вернемся домой. Только не думать о том, когда это будет. Нельзя намечать срок. Я знал некоторых, назначавших сроки. «На пасху мы будем дома», – говорили они. И когда прошла пасха, они умерли. Нужно бороться, чтобы остаться человеком. И тогда во всех товарищах ты всегда будешь видеть людей, а это трудно – сам скоро убедишься. Умирающие в последние дни доходят до ужасного состояния, и очень трудно заставить себя видеть в них людей. Но если ты не видишь в них людей, ты и сам перестаешь быть человеком. Очень трудно выразить все это словами. Но ты пройдешь эту школу. Держись ближе ко мне. Я научу тебя, каким должен быть узник Дахау.

– Почему ты выбрал именно меня?

– Из-за того, что ты бельгиец. Мне уже давно не доводилось говорить на родном языке.

– В нашей группе было несколько фламандцев и один голландец.

– Непременно найду их за ужином. Жуй медленно. Это очень важно. Не ешь весь хлеб сразу. Отламывай по маленькому кусочку и медленно пережевывай. Ничего не оставляй. Многие «организовывали», то есть крали, воду. Они размачивали в ней хлеб. Но скоро у них открывался понос, от которого они умирали. Главное правило – не бросаться в глаза и не жаловаться. Помни всегда, что эсэсовец не может быть гуманным. Эсэсовец может пошутить с тобой или показать фото жены и детей, может даже пустить слезу. Но через пару минут он даст тебе пинка под зад или отпустит двадцать пять палочных ударов. Даже в хорошем настроении они не перестают быть подлецами. Их шутки так же грубы, как и их лексикон. В блоке № 25 несколько человек однажды пожаловались эсэсовцу на еду. Он засмеялся и сказал, что на следующий день им принесут бутерброды. Они сидели в своем блоке и дрожали – думали, что их ждет коллективное наказание. Но на следующий день он действительно явился с бутербродами. Они были намазаны нечистотами.

– Не может быть,- сказал я.

– Может. И большая часть бутербродов была съедена.

Впрочем, нам эсэсовцы пока не угрожают. Они не подойдут к тифозным блокам, пока не кончится эпидемия тифа. А я не представляю, как она может прекратиться, если в лагерь ежедневно прибывают битком набитые эшелоны.

– И многие умирают? – спросил я.

– Тебе надо посмотреть на покойников,- ответил он.- Это тоже очень важно. Надо не бояться смотреть на мертвецов. Если ты выживешь, это тебе пригодится. Тот, кто боится смотреть на покойников, сам умрет. А теперь давай спать, не то нас выгонят на улицу. У нас еще будет много времени для разговоров.

Одним из страшнейших зол в тифозных блоках действительно оказались паразиты. Тут были все их виды: и вши, и клопы, и блохи. Их были мириады, и они рьяно помогали эсэсовцам в их деле: уничтожать, как можно быстрее уничтожать человеческую нечисть в тифозных блоках, чтобы освободить место для новых изгоев из становившейся тесной Германии. По мере приближения Красной Армии на востоке и союзников на западе проводилась эвакуация лагерей.

Изредка нашу одежду дезинфицировали, а самих гнали в баню. Вещи сбрасывали в кучу, а нас, раздетых, гнали по снегу мыться. В бане повторялась операция бритья, потом мы мылись горячей водой и «обсушивались» на ветру. И каждый раз это стоило кому-нибудь из заключенных жизни. Умирали прямо на снегу или в бане. Но вши не погибали. Их было такое множество, что во время одной из дезинфекций капо с ревом пустился в бегство – он увидел, как зашевелилась груда одежды.

После бани мы надевали старую одежду. Выбирали что получше. Однажды я нашел куртку с двумя отворотами и брюки с поясом. Но когда я надел брюки, то оказалось, что они порваны сзади. В чужой одежде, да еще прошедшей дезинфекцию, мы выглядели безобразно.

Мне неизвестно, каким составом дезинфицировали вещи, но я точно знаю, что вши и блохи успешно выдерживали эту обработку. Единственным результатом дезинфекции являлось то, что приходилось натягивать на себя влажную одежду. К угрозе заболеть тифом добавлялась еще угроза подхватить воспаление легких.

У меня нет слов, чтобы передать чувства, которые испытывает человек, истерзанный насекомыми. Среди нас были разные люди: священники, адвокаты, офицеры. И всех изводили блохи и вши. Зуд был невыносимый. Все тело в укусах. Постоянное ощущение, что ты весь в грязи. И даже после бани оставалось такое чувство, что ты такой же грязный, как и до мытья. Испытывая мучительный зуд, мы постоянно чесались, и от этого на теле

появлялись ранки и царапины – нечто вроде парши. Когда я вернулся домой, на моем теле не нашлось сантиметра чистой кожи: я весь был в укусах, тифозной сыпи и расчесах.

Не было средства против вшей, но старосты блоков регулярно проводили проверку на вшивость. Затея эта была совершенно бесполезной, и единственная цель ее состояла в том, чтобы позабавить немцев и унизить нас. Каждый должен был явиться на осмотр раздетым, держа рубашку в вытянутой руке. Два «контролера» усердно просматривали рубашки под бдительным оком старосты блока, который рядом с собой клал дубинку. Он тщательно записывал против наших номеров в списке цифры, обозначающие количество обнаруженных паразитов… Этой цифре соответствовало количество ударов дубинкой, полагавшихся в наказание.

Первую процедуру контроля мне не забыть никогда. Я находился тогда в блоке всего дня три. Я видел, как скребутся и ищут в рубашках отощавшие люди. Я сам чесался без конца, так как меня облюбовали клопы. Раньше я ни за Что бы не поверил, что у меня могут оказаться паразиты. Я думаю, любой культурный человек считает себя застрахованным от этой пакости. При первой проверке я счел излишним просмотреть свою рубашку и со спокойной совестью встал в очередь. Но каков был мой ужас, когда староста бокса с победным видом поднес мне под нос белое насекомое.

– Вошь! – крикнул он.

Без крика в таких случаях не обходилось. Эсэсовцы без конца орали, и, если им отвечали недостаточно громко, в ход пускалась дубинка. И в тифозных блоках, где эсэсовцев не было, их приспешники действовали точно так же.

Поэтому, вытянув руки по швам, я громко и отчетливо выкрикнул:

– Это не вошь, господин староста бокса! Моя выправка, думается мне, понравилась ему, но ответ, видимо, пришелся не по вкусу. Он заорал, вскочил на ноги, повернул меня кругом и дал такого пинка под зад, что я пролетел мимо массивной кирпичной печки в другой угол комнаты. Он в бешенстве ринулся за мной.

– Так это не вошь? Я покажу тебе, что это такое! Навек запомнишь, что такое вошь.

Он прижал меня к стене и растер вошь на моем лице. Потом стал бить по щекам. Его лицо было совсем близко – слюна брызгала мне в лицо.

– Теперь знаешь, что такое вошь?

– Так точно, господин староста бокса! – крикнул я.

В нашем блоке находился бельгийский полковник по фамилии Беквефор. Высокий подтянутый аристократ, который держался замкнуто и общался только с офицером, которого у нас прозвали «командиром». Если «командир» вступал в разговор с кем-либо из заключенных, полковник тут же отходил в сторону, явно недовольный поведением «командира». Полковник Беквефор сохранял аристократизм даже в грязи тифозного блока и не опускался до того, чтобы искать вшей.

Он был уже немолод, мне казалось, что ему под шестьдесят. Когда он стоял в очереди с грязной рубашкой в руке, грязный, искусанный и исцарапанный, то держался очень прямо и пристально смотрел перед собой.

В одну из проверок контролеры сбились со счета, проверяя его рубашку. Староста бокса выругал их, схватил грязную рубашку и хлестнул ею Беквефора по лицу.

– Проклятый вонючий француз! Грязная свинья!

Полковник продолжал стоять неподвижно и молчал. Он не смотрел на старосту бокса, он по-прежнему смотрел прямо перед собой. Еще удар по лицу.

– Ты что, не можешь открыть свою пасть?

– Ye ne comprends pas l'Allemand,- сказал полковник.

– Что за тарабарщина! – заорал староста бокса.

– Он говорит, что не понимает немецкого, – услужливо пояснил контролер.

– Ах, вот оно что! Не понимает немецкого, дрянь? Сейчас я научу его немецкому.

Староста бокса схватил полковника за шиворот и, осыпая бранью, поволок к Двери. На улице уже лежал снег, было холодно. Староста поднял всех на ноги. Кто-то притащил скамейку, на которую поставили полковника. Собирались медленно, и староста побежал по боксу, размахивая дубинкой.

– Всем на улицу!

Не помню, сколько времени стоял на скамье полковник. Может быть, час, а может быть, три или четыре. Он стоял все так же неподвижно и прямо и смотрел поверх голов. Я никогда не видел более печального зрелища. Его гордость казалась почти комической, гордость человека, одетого в грязное арестантское рубище. Но никто не смеялся. Никто не испытывал удовольствия от того, что издевались над человеком, который считал себя выше других. Это был человек особенный. Человек, который даже здесь продолжал оставаться самим собой и был не в состоянии приспособиться к концентрационному лагерю.

Староста бокса бесновался, раздавая направо и налево пинки и оплеухи.

– Вот полковник бельгийской армии, у которого больше всех вшей, – орал он.

Староста не поленился сходить к писарю, чтобы посмотреть карточку полковника Беквефора.

– Повтори, вонючая собака, что ты величайший неряха двадцатого века.

Полковник молчал. Я чувствовал, как напряглись его плечи. Он старался выглядеть твердым и спокойным. И все-таки было заметно, что он теряет силы.

– Повтори, что ты самая грязная тварь двадцатого века. Будешь стоять здесь, пока не

– Ye ne comprends pas l'Allemand, -снова произнес полковник.

В конце концов староста устал. Полковник тоже опустил плечи, уронив голову на грудь.

– Можешь считать, что он уже мертв,- сказал мне вечером Друг.

– Кто?

– Полковник. Теперь они будут мучить его. И староста блока, и старосты боксов, и остальные. Эсэсовцы сделают все, чтобы убить его. И их прислужники здесь, в блоке, постараются им помочь. Люди, командующие здесь, привыкли действовать по примеру эсэсовцев. На той стороне лагеря все иначе. Там заключенные нужны для работы. И поэтому эсэсовцы терпят, что «красные» командуют в тех блоках. Но здесь распоряжаются идиоты и уголовники, которые в жестокости не уступают эсэсовцам. Они и считают себя почти эсэсовцами. Когда я прибыл сюда, один из их ораторов сказал: «Здесь запрещается смеяться. Здесь может смеяться только дьявол, а дьявол – это я». Неделю спустя эти слова повторил староста бокса. Эти типы во всем подражают эсэсовцам. Они убьют полковника.

Его действительно убили. Иезуитски. Они поняли, что унижение для этого человека страшнее физического наказания. Полковник умер одним из первых среди прибывших в байретском эшелоне.

Мы спали по девять человек на двух нарах шириной по девяносто сантиметров. Метр восемьдесят на девятерых. Если поворачивался один, то должны были поворачиваться и остальные, поэтому мы старались не шевелиться. Некоторые группы укладывались валетом. Мы же всегда спали голова к голове, лежа на боку.

Если кому-то ночью требовалось выйти, то потом он никак не мог втиснуться на свое место. Поэтому мы старались не вставать.

Мисок для еды тоже не хватало, на две тысячи заключенных в блоке их имелось сотни три-четыре. И когда днем раздавалась

команда: «Выходи на раздачу супа», все бросались к двери бокса, расталкивая локтями соседей, чтобы поскорее подобраться к выходу.

Суп раздавали на улице. Его подвозили к тифозным блокам и в котлах разносили по боксам. Голодные люди, сдерживаемые кулаками и пинками охранников, рвались к котлам. Миски первыми получали те, кто оказывался ближе к котлу. Староста бокса наливал в каждую миску половник супа. Торопиться, собственно, было глупо, так как суп был очень жидкий и только на дне котла оставалось немного гущи.

Староста не трудился размешивать суп, так как персонал ел из того же котла и гуща на дне доставалась ему. Но у заключенных не хватало терпения ждать. Запах супа манил и подгонял их. Иногда раздача супа проходила спокойно – каждый выкрикивал свой номер и писарь ставил в списке против номера крестик. Но обычно суп выдавали просто по очереди, и казалось, что в таком случае его можно получить дважды. Но не тут-то было: старосты отличались безукоризненной памятью, и если кто-то рисковал подойти второй раз, то получал удар черпаком по лбу. Впрочем, этот черпак гулял по бритым головам и без всякого повода. Старосты привыкли бить заключенных всем, что попадало под руку.

Получившие суп должны были молниеносно выпить его (ложек, конечно, не давали) и передать миску следующему в очереди. Миски обычно передавали, основательно вычистив их пальцами. Ни одна собака не могла бы вылизать свою миску так чисто, как это делали мы. Однажды мне за это здорово досталось. Немец отчитал не только меня, но и всех стоявших в очереди.

– Совесть у вас есть? Что за сборище грязных свиней! Неужели вам приятно, что вашим товарищам придется жрать из мисок, которые вы лизали? А может быть, у вас тиф! Откуда такие берутся! Неужели в вашей свинской стране никто понятия не имеет о гигиене?

Это был сильный, сытый мужчина, он с наслаждением раздавал удары и пинки. И мы не сопротивлялись, покорно отдавали свои миски. Я посмотрел на Друга. Он кивнул мне. Да, мы и в самом деле начинали дичать.

Порция супа равнялась примерно четырем стаканам жидкости. Вечером нам давали двести граммов хлеба. Утром мы получали только пол-литра тепловатой жидкости, именовавшейся кофе. Вместо двухсот граммов хлеба стали выдавать сначала по сто семьдесят пять, потом по сто пятьдесят, по сто и, наконец, по восемьдесят граммов. В хлеб добавляли опилки.

Голод… Описать, что такое голод, так же трудно, как трудно

передать, что такое вши. Голод – это не ощущение, это состояние. Это болезнь, от которой умирали. Голод ощущался не только в желудке, вы чувствовали его во всем теле. И в мозгу, так как голод лишал человека способности здраво мыслить. Приходилось постоянно бороться с апатией, которая здесь, в лагере, была смертельно опасной. Голод ощущался в ногах, которые спотыкались на каждом шагу, в цвете кожи, которая стала серой и подолгу не заживала, если на ней появлялась царапина. Голова кружилась, и руки висели как плети. Иногда приходили мысли о смерти как о спасении. И это тоже было страшно. Ибо смерть на каждом шагу подстерегала нас. У меня еще не хватало мужества посмотреть на мертвецов, как мне советовал Друг. Вообще-то мы все видели их. Они лежали на снегу, в проходе между бараками. Я видел их, но старался не смотреть в ту сторону.

Случалось, что заключенные крали друг у друга хлеб. Слабый выхватывал у более слабого его кусок и уходил, жадно глотая хлеб. Он понимал, что получит за это двадцать пять палочных ударов, и все-таки шел на воровство. Воров бойкотировали. Мы даже не осуждали немцев за эти двадцать пять палочных ударов. Вор мог стать и убийцей из-за еды. Однажды в Дахау был случай такого убийства.

Голод… Он душил нас постепенно. К рождеству 1944 года я уже был в его власти. Но он еще не добрался до моего мозга, моих рук и ног.

В тот день мы не услышали команды выходить за супом. Был праздник, и нам разрешили оставаться в боксе, на нарах. Это было великое благо, так как изголодавшиеся люди на улице мерзли невыносимо.

В ясные дни из Дахау можно было видеть вершины Альп. Зима была исключительно суровой, с сильным снегопадом. Снег шел и в тот рождественский день. В последнюю неделю мы перебрались спать в жилой бокс. Барак был настолько забит людьми, что нары поставили даже в жилом боксе. Другу, мне и еще двум товарищам из Лира удалось занять там местечко.

Мы сидели на нашем «третьем этаже», свесив ноги с нар, когда появился староста со своим штабом и остановился посреди бокса, расставив ноги и поигрывая, как обычно, своей дубинкой. Он что-то пробормотал одному из своих подчиненных, и тот распахнул дверь в спальный бокс.

– Требуются десять добровольцев для работы.

Вышли двое. Они еле передвигали ноги. Остальные сидели тихо, избегая смотреть на старосту. Двое добровольцев стояли плечом к плечу, опустив глаза. Они думали о еде, когда согласились работать, но они стыдились своего поступка.

– Еще восемь! – крикнул староста бокса.- Что, тут одни лентяи собрались? Еще восемь добровольцев. Имейте в виду, вам предлагают в первый и последний раз.

Вышли еще двое. Потом трое. После новой порции нотаций в комнате стояли все десять. Вдесятером они держались более уверенно, чем двое первых. Они чувствовали наше презрение, но смотрели с вызовом. На одном из добровольцев не было ботинок, и он стоял босиком.

– Так вы все решили работать на Германию?- спросил староста.

Они утвердительно кивнули, вызывающе посмотрев на нас. «Мы хотим есть»,- говорили их глаза.

– Эй ты,- сказал староста.- Ты же без ботинок.

– Для работы нужны не ноги, а руки. Староста кивнул. Он говорил елейным тоном.

Я еще ни разу не слышал у него такого голоса.

– Вы вызвались работать добровольно. Мы покажем вам, как высоко это ценится в Германии. Немцы – трудолюбивый народ. Германия всегда симпатизировала честным труженикам, которые любят работать. И так как вы вызвались добровольно, то вам не обязательно работать, мы хотим вознаградить вас за ваш поступок.

Солдаты внесли большой котел с едой.

– Это только для вас. Можете есть.

Все десять сразу набросились на еду. Они вели себя, как голодные волки, спешили, чтобы другим не досталось больше, руками лезли в котел; не успев прожевать кусок, хватали новый и вызывающе смотрели на нас.

Мы, разумеется, тоже смотрели. Сидели растерянные и злились на самих себя и на этих обжор. Запах пищи раздражал. Староста бокса был доволен. Заметив, что котел опустел, он приказал принести второй. Его опустошили он сам и его свита.

Нам же на обед не дали ничего.

На следующий день, второй день рождества, староста бокса повторил свой спектакль. Он вошел в сопровождении своих подручных и снова приказал открыть дверь в спальный бокс.

– Нужны тридцать добровольцев для работы. Он был поражен – с нар мгновенно повскакали и бросились к нему, отталкивая друг друга, десятки голодных людей. Около меня сидел товарищ из Лира, и я, чувствуя, как он напрягся, схватил его за куртку.

– Не поддавайся на эту удочку. Разве тебе не ясно, что это какое-то новое издевательство?

– Если я еще раз увижу, как эти парни обжираются, я сойду с ума, – сказал он.

Он вырвался. Я попытался схватить его снова, но он спрыгнул с нар и присоединился к группе «добровольцев». Их было гораздо больше тридцати, наверное, около сотни.

– Порядок,- сказал староста бокса.- Следуйте за мной.

На улице в тот день было очень холодно. Я встретился взглядом с товарищем из Лира, когда «добровольцы» выходили из помещения.

– Он проходит школу Дахау,- заметил Друг.- Будем надеяться, что не слишком дорого за это заплатит.

Расплата оказалась довольно тяжелой. Вечером, когда стемнело, группа вернулась назад. Они несли нескольких совершенно обессилевших товарищей. У нашего лирского знакомого оказались обмороженными руки, ноги и уши. До сих пор они дают себя знать. Он рассказал нам грустную историю.

Их включили в команду по уборке снега. На закрытые блоки немцы не обращали внимания, но на остальной территории лагеря эсэсовцы не терпели и сантиметра снега. Добровольцы из блока № 17 работали вместе с командой снегоуборщиков, но те выглядели не такими изнуренными, они были в носках и в рукавицах. Лопатами они сгребали снег в огромные кучи, а оттуда перетаскивали и сбрасывали в канал, пролегавший вдоль западной границы лагеря. Для этого использовались тележки, в которые впрягались заключенные.

Добровольцам из блока № 17 было приказано накладывать снег голыми руками на широкие доски, утрамбовывать его и вчетвером переносить эти тяжелые глыбы на досках, подняв их на плечи. И при этом их беспрерывно подгоняли: «Быстрее, быстрее, проклятые лентяи!» На них сыпались удары кнутов и пинки, гуляла по спинам резиновая дубинка, вовсю работали кулаки. Через час все выдохлись, через два группа имела жалкий вид. Эсэсовцы только и ждали этого момента, чтобы ускорить темп и поиздеваться над несчастными. «Бегом, проклятая банда лентяев!» Если один из четверых носильщиков падал – доска переворачивалась и глыбы утрамбованного снега сползали. Подскакивал эсэсовец и наказывал не только того, кто упал, но и всех остальных – за то, что не удержали груз. И тогда трое носильщиков ругали упавшего, плача от усталости и боли. Уничтожение чувства солидарности и товарищества являлось целью эсэсовской системы.

Руки, уши, ноги мерзли, а тело покрывалось потом от напряжения. Бесконечные часы непрерывного бега и тяжелого труда довели людей до полного изнеможения.

– Эсэсовцы снова вернулись к своей первоначальной системе, – сказал Друг, закутывая несчастного товарища из Лира в одеяла.

– Вначале они заставляли заключенных делать бесполезную работу. Давали тяжелые, но бессмысленные задания. Главное – изнурить людей и сделать их посмешищем. Им важно было сломить нас физически и морально. Поэтому люди заменяли инструменты, животных, технику. Заключенных, например, заставляли голыми руками ломать камень в каменоломне.

Потом эсэсовцы вдруг решили более целесообразно использовать труд заключенных. Это случилось, когда дела у немцев на фронте пошли хуже. В 1942 и 1943 годах пленных стали направлять для работы в промышленность. Кажется, охранникам-эсэсовцам было запрещено издеваться над заключенными на работе, но они не считались с этим. И теперь, когда близится поражение Германии, они снова вернулись к старым методам. Тогда они заставляли голыми руками копать картофель на полях, теперь приказывают голыми руками убирать снег. Тогда заключенные толкали тележки с камнем из каменоломни, теперь людей впрягают в каток, заставляют тянуть «мор-экспресс».

– «Мор-экспресс»? – переспросил я.

Друг знал все. Он был энциклопедией концлагерей. Он мог рассказать в подробностях о жизни и в других лагерях. Впоследствии я решил, что он входил в состав подпольной организации лагеря.

– Ах да,- ответил он.- Вы же прибыли из тюрьмы и еще ничего не видели здесь, кроме этого барака. На той стороне каждый знает, что такое «мор-экспресс». В лагере имеются тяжелые повозки различного типа. На них перевозится все, что угодно. Вместо лошадей – заключенные. Повозки для определенного вида груза получили название «мор-экспресс». Впереди у каждой оглобли встают два человека. По обе стороны повозки прикреплены три-четыре рычага, за которые тянут еще по двое заключенных. Повозки эти очень тяжелые и неповоротливые, но капо заставляют «лошадей» бежать галопом. В лагере всегда один из капо играет роль погонщика – орудует кнутом так, словно погоняет настоящих лошадей. За воротами лагеря «мор-экспресс» сопровождают эсэсовцы с собаками.

– Что же они перевозят? – спросил я, хотя уже и сам догадался. Я понял это по внезапно посуровевшему лицу Друга, впервые я прочитал на нем ненависть.

– Если тебе когда-нибудь придется увидеть этих людей, ты никогда уже не сможешь забыть их: согбенные спины, опущенные головы, отекшие руки и ноги. Изо дня в день они тянут, толкают этот «мор-экспресс». Летом они изнемогают от жажды, глаза, нос и рот горят от пыли. Зимой они валятся на снег, обмораживают

ноги или утопают в грязи. Они голодны, как и все мы. В глазах пустота. Они грязные. Мы тоже грязны, но не так, как они. Они действительно превратились в животных, разучились думать. Они словно срослись с этой повозкой, ставшей их врагом и единственной целью существования. Обычно на повозках перевозят котлы, муку, хлеб, одежду, камни, цемент, песок, но «мор-экспресс» возит трупы – только трупы, и ничего иного. А трупов здесь хватает. Не берусь сказать, сколько человек умирает ежедневно. Но и раньше, когда смертность была ниже, эту повозку употреблять для других целей не разрешалось – только для доставки трупов в крематорий. Было время, когда в лагере умирало сравнительно мало людей. Тогда в свободные часы заключенные с «мор-экспресса» перевозили другие грузы. Иногда эсэсовцам хотелось позабавиться, и они заставляли людей возить по лагерю «мор-экспресс», груженный двумя пустыми ящиками из-под сигар. Это было еще хуже, чем возить повозку с тяжелым грузом. Унижение подрывало волю к сопротивлению. Работавшими на «мор-экспрессе» овладевало глубокое отчаяние. Они знали все разновидности смерти: смерть от голода, самоубийство, убийство в лазарете.

– Убийство в лазарете?

– Об этом поговорим в другой раз. Там командует доктор Рашер. Вернее, командовал. Гиммлер убрал его. Рашера арестовали. Говорят, что его заточили в бункер.

– В бункер? – переспросил я.

– Я расскажу тебе когда-нибудь и об этом. Ты очень любопытный парень. С чего бы это? Уж не собираешься ли ты написать книгу?

– Все может быть…- сказал я.

– Писал уже что-нибудь?

– Зарабатывал этим когда-то на карманные расходы. В четырнадцать лет начал писать детские рассказы. А потом сочинял любовные истории для воскресных приложений.

– Если напишешь о Дахау, то любовной истории не получится,- усмехнулся Друг.- Будешь продолжать учебу, когда выйдешь отсюда?

– Вряд ли. Не получится. Да и наплевать мне на это, только бы выйти отсюда живым.

– Мы все только этого и хотим. Но я не знаю, понравится ли нам жизнь после всего виденного здесь. Может быть, мы просто хотим увидеть их конец. И отмщение.

– Мы должны отомстить, чтобы это никогда не повторилось.

– Посмотри, он умирает,- сказал он.

Я оглянулся. Умирал один из наших, из тех, кто прибыл с

эшелоном из Байрета..

Так как был второй день рождества, то староста бокса разрешил несчастному умереть спокойно. Он приказал двум охранникам снять с него одежду, так как раздевать покойника будет труднее.

Умирал пожилой человек. Он лежал раздетый на одеяле. Я забыл его фамилию. Он был известным коммунистом, сидел в Бреендонке. У него был приступ паховой грыжи – напоминание о пытках в Бреендонке. Он лежал молча. Тихо умирал. Я еще никогда не видел, как умирают люди. Никогда не думал, что так можно умирать. Я ждал страха. И сопротивления. Но этот пожилой человек вел себя так, словно просто готовился ко сну. И только когда староста бокса быстро подошел к нему, я понял, что это действительно конец.

– Скоро эта старая крематорская собака уберется через трубу,- сказал староста.

Среди нас был священник, который спросил, не хочет ли умирающий исповедаться. Тот отказался, сказав, что всю жизнь был атеистом. Священник должен был понять, что в свой смертный час он не хотел запятнать себя ложью. Умирающий говорил очень дружелюбно. И убежденно. Он спросил священника: разве может человек на смертном ложе отречься от всех своих убеждений. Тот больше не настаивал и остался сидеть в группе бельгийцев из нашего барака. Мы ждали.

И вот лежавший на одеяле человек уснул. Перестал дышать.

– Ну вот я и посмотрел на покойника, – сказал я Другу.

Но он покачал головой.

– Это не то, что я имел в виду,- сказал он.- Такая смерть ничему не учит. Человек был рад смерти как избавлению от мук. Глядя на него, сам начинаешь думать, что смерть-легкий способ отделаться от всей этой мерзости. Ты должен смотреть на других мертвецов. Мертвых, взывающих к бунту. Умерших смертью, которой ты никогда себе не пожелаешь. Вот теперь надо смотреть. И еще посмотри на него завтра, когда он окоченеет.

Но я отвернулся, увидев, как тело умершего поволокли на улицу. Один из охранников взял покойника за ноги и стянул с нар. Удар головы об пол болью отозвался в моем сердце.

Друг видел, как я вздрогнул.

– Так они поступят и с тобой,- сказал он.- С мертвыми здесь обращаются, как с мешком мусора. Они лишили смерть ее значения и величия. В изоляторе Освенцима мертвецов обычно караулили крысы. Каждую ночь они устраивали там пиршество.

– А ты был и в Освенциме?

– Я разговаривал с людьми, сидевшими там.

– Ты много знаешь и о нашем лагере.

– Я стараюсь быть в курсе. Есть люди, которые время от времени выходят из блока. Каждый должен знать как можно больше о том, что здесь делается, это необходимо для будущего.

В блоке № 17 сенсация! Французы получили посылки Красного Креста. Событие это вызвало растерянность и зависть у всех остальных. Все столпились вокруг французов. Рассматривали содержимое посылок: килограмм фасоли, килограмм сахара, сардины и сигареты. Сигареты в лагере ценились на вес золота. Хотя и были очень плохие. Французы называли их «Sales Petains»[4]. В Бельгии тоже имелись сигареты низшего сорта под названием «В.Ф.», мы окрестили их «вонючим фюрером».

И все-таки сигареты были необходимы нам как хлеб.

Французы сразу же стали нашими лучшими друзьями. Мы заговаривали с ними, когда они сосали кусочек сахара или курили сигарету, но они не делились с нами. Правда, иногда кому-нибудь из нас перепадал окурок. Французы обычно не уединялись со своими сокровищами. Потом им потребовалась наша помощь. Никто из французов не знал немецкого, а им нужно было спросить старосту бокса, можно ли варить фасоль на печке в жилом блоке. Бельгийцы пользовались славой практичных людей, которые из любого положения найдут выход, и французы обратились к нам. Мы сторговались с персоналом бокса и получили разрешение варить фасоль. За это, разумеется, французам пришлось платить. Большая часть фасоли попала в желудки хозяев бокса, кое-что перепало французам, немного досталось и нам- за то, что мы выполняли роль переводчиков.

Когда фасоль была съедена, мы начали второе наступление. На этот раз – атаку на сигареты. Как только прибыли посылки французского Красного Креста, поползли слухи, что скоро прибудут дары и бельгийского Красного Креста. Посылки будут весом пять килограммов и значительно качественнее французских. Бельгийские сигареты куда лучше французских. А разве бельгийский сахар не славится? Кусочек бельгийского сахара заменит три куска французского. Мы расхваливали французам наш рафинад, говорили, что в бельгийских посылках будет и рыбий жир, и мед, и печенье. Все эти разговоры привели к тому, что мы и сами поверили в свою выдумку. А французы поверили нам. Вот тут-то и началась бурная торговля между французами и бельгийцами. «Дай мне пять сигарет, а на следующей неделе получишь десять бельгийских». «Дай кусочек сахара и тогда получишь от меня два». Иногда наши уловки удавались. Но обычно французы предпочитали синицу в руках журавлю в небе.

Шли дни. Собственно, мы никогда всерьез не верили в наши посылки, и слабая надежда на то, что мы получим их, таяла с каждым днем. Но посылки пришли. Серые картонные коробки с красивым бельгийским флажком. Совершенно плоские, почти невесомые коробки. Теперь мы оказались в центре внимания, все толпились вокруг нас. И как ни легки были эти посылки, мы уже мысленно наслаждались их содержимым. Но нас ждало разочарование: в коробках лежало двое кальсон и две рубашки. Французы, заключавшие сделки в расчете на эти посылки, были огорчены не меньше нас. Большинство бельгийцев сразу же натянули на себя белье. Я же решил, что его можно использовать гораздо лучше. Пока остальные не пришли к этому же решению (цена сразу упала бы), я продал свою нераскрытую коробку австрийцу – старосте бокса-за пачку югославских сигарет. Одна такая сигарета приравнивалась к порции хлеба.

Через час после получения посылок всех бельгийцев собрали вместе и повели на дезинфекцию. Нас быстро гнали по лагерной улице в баню, которая находилась по соседству с плацем. Там нашу одежду побросали в кучу. Новое белье сложили в мешки. Некоторые пытались протестовать и отказывались отдавать новое белье. Им отвечали бранью, тумаками, пинками. Мы быстро поняли, что протестовать в Дахау не имеет смысла. Нам объявили, что белье вонючих вшивых бельгийцев должно быть продезинфицировано, пока мы не заразили тифом весь лагерь. Некоторые еще не раскрыли свои коробки, но их все равно забрали для дезинфекции.

К счастью, у меня ничего не было. Для верности я отдал свои сигареты на хранение одному французу. Двое взбешенных капо гоняли меня по бане, пиная и колотя, а я орал во все горло, что у меня ничего нет, так как мою посылку украли. Я отделался синяком под глазом и разбитым носом. Но все неприятности были забыты, когда я вернулся в барак и ощутил себя счастливым обладателем двадцати сигарет – десять штук француз удержал за услугу.

В этот вечер мы с моим голландским другом врачом смогли покурить в умывальне около бокса.

– Как ты снова попал сюда из свободных блоков? – спросил я голландца.

– По своей собственной вине. Я попался на глаза эсэсовцам. Там был один профессор, он носил очки, и немцы постоянно издевались над ним. Эсэсовец спросил у него, кто он по специальности. «Профессор»,- ответил он. «Умеешь читать?» – «Так точно, господин эсэсовец». «Умеешь писать?» – «Так точно, господин эсэсовец». «Хорошо. Тогда иди чистить уборные». А

уборные были переполнены – испортилась канализация. Такое здесь часто случается, почти в каждом бараке. Как и для других работ, для уборки нечистот не полагалось никакого инвентаря, профессор должен был руками выгребать нечистоты из уборной и перекладывать в бочку. Его беспрерывно рвало. Я решил помочь ему. Эсэсовец обозвал меня вонючим голландцем и сказал, что мое место среди других мерзавцев. Эсэсовцы вообще очень любят ругаться. У них грубая речь, и, если им приходит на ум соленое словцо, они ржут как лошади. «Другие мерзавцы» находились, по его мнению, в закрытых блоках. Так я снова попал сюда. И не жалею об этом. Здесь значительно хуже, чем на той стороне, я вижу, как тут слабеют от голода и умирают люди, но там я ежедневно сталкивался с преступлением.

После каждой затяжки Друг передавал сигарету мне. Потом затягивался я и возвращал сигарету. Мы старались не делать глубоких затяжек, чтобы продлить удовольствие.

– Я знал одного из тех, кто работал на «мор-экспрессе». Один из немногих, кому удалось выжить. В его карточке было записано, что он специалист по обезвреживанию неразорвавшихся бомб. Такие им были нужны в «команду ангелов». Сейчас объясню, что это за команда. Итак, они забрали его из команды «мор-экспресса». В ноябре сорок второго года ему пришлось выгружать трупы из поезда. Эшелоны подходят к самому Дахау, и пленные идут пешком в лагерь. В лагере тоже есть небольшая платформа, около ворот. Четырнадцатого ноября прибыли русские и поляки из концлагеря Штутгоф, который находится неподалеку от бывшего свободного города Данцига. Десять дней длился этот путь. Десять дней пленные сидели в теплушках для скота, без пищи, без воды. Они уже были сильно истощены, когда их отправляли из Штутгофа. Кошмар! В эшелон погрузили человек девятьсот, по дороге умерло около трехсот. Когда теплушки открыли, даже парни из «мор-экспресса» шарахнулись в сторону от зловония – запаха разлагавшихся трупов и нечистот. Перед тем как выйти из вагонов, оставшиеся в живых должны были вытащить трупы умерших. Живых трудно было отличить от мертвых. Многие потеряли сознание. Их тоже выбрасывали из вагонов и грузили на «мор-экспресс». По пути некоторые приходили в сознание и скатывались с повозки. Эсэсовец заставлял команду подбирать их и снова класть на повозку. Один четыре раза скатывался на землю, и четыре раза его снова клали на повозку. Его сожгли вместе с трупами. И с другими, еще живыми. Те, что остались живы, находились в ужасном состоянии. Еле передвигая ноги, они брели к бане. Движущиеся скелеты с ввалившимися глазами и потухшим взглядом. Умирали в бане.

Умирали, когда получали одежду. Умирали по пути в блок. Через две недели ни одного из них не осталось в живых.

– Да, страшные вещи ты рассказываешь.

– Я считаю, что лучше говорить об этом, чем молчать, как другие. Такие вещи разжигают ненависть, а ненависть придает силы.

– Тогда у меня уже достаточно сил, – сказал я – До конца моих дней я буду ненавидеть все немецкое.

– У меня тоже такое чувство,- признался Друг.- Но надеюсь, потом это пройдет. Сейчас время ненависти. Но потом должно наступить время без ненависти. Разве не в этом наша величайшая победа? Мир без ненависти.

– Ты собирался рассказать о «команде ангелов», – напомнил я.

– Она работает вместе с «бомбовой командой». Эта команда откапывает неразорвавшиеся бомбы, а «команда ангелов» обезвреживает их. Многие не обучены этому делу, работают по инструкции и, случается, часто ошибаются. Тогда «ангелы» в буквальном смысле слова возносятся на небо. И все-таки каждый из заключенных на той стороне старается попасть в эту команду. Там дают особый паек, а если тебе и придется расплатиться за это жизнью, то все произойдет мгновенно, даже и не заметишь.

В январе бельгийцев и французов нашего блока собрали вместе. Как и водится в подобных случаях, сразу же поползли самые невероятные слухи: немцы испугались освобождения Бельгии и Франции и решили отправить нас на работу в крестьянские усадьбы. Оптимисты принялись подсчитывать, сколько сала и яиц будут давать нам в день. Некоторые строили план, как соблазнить хозяйку – ведь хозяин наверняка дерется с русскими на фронте.

Я лично относился к пессимистам. Убедился на опыте, что это более разумная философия. Что бы ни случилось в нашей жизни, при таком подходе ко всему ты избежишь разочарований. Всякий раз оптимисты утверждали, что хуже не будет. Однако становилось все хуже и хуже. Нас погнали по лагерной улице к лазарету – в блок № 3. Тогда мы еще не слышали страшных рассказов о лазарете, и прошел слух, будто нас ведут для проверки – хотят выяснить, нет ли у нас заразных болезней, – а потом обменяют на немецких военнопленных. По обыкновению, мы простояли на холоде перед лазаретом несколько часов. У нас на глазах эсэсовец глумился над группой священников из блока № 26.

Тон у него был издевательски-елейный, он сопровождал свою речь жестикуляцией, подражая священнику, читающему

проповедь. Но его спокойствия хватило ненадолго. Эсэсовцы вообще не умели разговаривать с заключенными сдержанно и всегда срывались на крик.

– Так, значит, Павел?! Каменная скала, как говорит ваш святой отец,- издевался он.- И на этой скале зиждется ваша церковь[5]. Очень ненадежная скала, не выдержит самого слабого толчка.

Он все более распалялся. Священники стояли, не шелохнувшись, и молча смотрели на него. Это привело эсэсовца в бешенство, и он стал бить их по бритым головам. Бил до тех пор, пока кто-нибудь не падал. И тогда эсэсовец начинал хохотать. Этот смех несся по всей лагерной улице.

– Проклятые идиоты, грязные свиньи, вонючие кабаны, бешеные собаки! – орал он, пустив в ход весь свой запас ругательств.

Один из священников очень тихо, но отчетливо произнес:

– Не Павел, а Петр.

Эсэсовец тут же вцепился в него, свалил с ног и стал топтать.

– Мне наплевать, как зовут этого вшивого идиота: Павел или Петр. Какое мне дело до этого грязного кретина? Мы взорвем вашу проклятую скалу. Я размозжу ваши твердолобые головы.

Он бил их кулаком, пинал ногами, сталкивал головами. И если кто-нибудь из них падал, остальные стояли неподвижно. Так они выражали свой протест.

Наконец нас загнали в лазарет. Мы цепочкой шли по коридору с большим количеством дверей.

В одном из «кабинетов» заключенные под наблюдением эсэсовца измерили и взвесили каждого из нас. Никто не объяснил нам цели осмотра. Впрочем, осмотр этот был крайне поверхностным. После обмеривания и взвешивания спросили фамилию, имя и профессию. Я снова назвался арфистом. В заключение нам приказали промаршировать мимо эсэсовца и, проходя, повернуться к нему и показать язык. Это мы проделали с большим удовольствием. В то время я весил сорок девять килограммов – в день ареста во мне было восемьдесят. Но даже и с таким весом я казался крепышом по сравнению с другими.

Нас снова привели в наш блок. Строились всевозможные догадки о цели осмотра. Все считали, что нас пошлют работать.

Так думал и Друг.

– Создадут какую-то особую команду, – сказал он. – И видимо, неплохую команду.

Я рассказал ему о «проповеди», которую эсэсовец прочел священникам.

– В Дахау постоянно находятся священники,- начал он.- Их

режим все время меняется. То они пользуются льготами, то для них вводят жесткий распорядок. Сначала им разрешали служить мессу, исповедовать заключенных, правда, в присутствии эсэсовцев. Первоначально сюда присылали священников, которые выступали против гитлеризма. Когда они прибывали в лагерь, эсэсовцы нарочно ставили грампластинку. Ты, наверное, слышал ее: «Эй, черный цыган, сыграй мне что-нибудь». Их судьбой распоряжался комендант. Ты не поверишь, но среди эсэсовцев было несколько по-настоящему верующих. Большинство же ненавидели священников лютой ненавистью, они поступали с ними так же, как с коммунистами и евреями,- отправляли в штрафную роту. Но в конце сорокового года все священники были размещены в особых бараках: польские попали в блок № 28, остальные- в блок № 26. Полякам всегда приходилось хуже, чем другим. Многие стали подопытными кроликами для медицинских экспериментов в блоке № 5. Часто эсэсовцы заставляли их бегать наперегонки и подгоняли кнутами. Хочешь я расскажу тебе историю Теофила Горальского?

– А кто это такой?

– Польский священник. Из какой-то деревни на востоке. Мне рассказал эту историю один из заключенных, тоже поляк.

Теофил Горальский был обыкновенным священником. У него была удивительно красивая церковь – такие иногда можно встретить в бедных польских деревнях. Он вкладывал в нее уйму денег. Позолоченные подсвечники. Резная кафедра и исповедальня ручной работы. Редкостные скульптуры и картины. В его владении имелось около сорока гектаров земли, на которой работали его прихожане. Утром и вечером после работы на своих участках они обрабатывали его землю. Он продавал урожай. Отвозил его на рынок в Люблин. У него были телята и куры. Он поставлял мясо и яйца в один из отелей в Люблине и мог бы жить словно бог – во Франции, как у нас говорится. Но все деньги, которые он выручал, Теофил Горальский вкладывал в церковь.

Пришли немцы. Священник слышал, что они разрушают и грабят церкви, и решил задобрить их. Когда части оккупантов вошли в деревню, он предложил свой дом офицерам, а сам перебрался жить в церковь. Район был неспокойный, в окрестных лесах действовали отряды партизан. Однажды в церкви спрятался раненый партизан, за которым гнались немцы из карательного отряда. Когда немцы, обшарив дома, приблизились к церкви, он забрался на колокольню и стал стрелять. Он убил нескольких карателей, но скоро у него кончились патроны. Немцы влезли на колокольню и сбросили его вниз.

Каратели не пощадили и церкви Теофила Горальского:

сломали все скамьи, а картины, скульптуры и позолоченные подсвечники погрузили в машину и увезли. Затем они выдвинули исповедальню на середину церкви. Священник находился в это время под охраной на хорах. Он пытался кричать – его стали бить прикладом в спину. Наконец он упал на колени и зарыдал.

Немцы разграбили деревню. Они привели в церковь девиц, и началась вакханалия.

Они осквернили церковь, и Теофил Горальский не выдержал: он схватил первый попавшийся под руку предмет – тяжелый чугунный подсвечник – и набросился на эсэсовца и девку, укрывшихся в исповедальне. Затем он подбежал к кафедре и проломил череп второму немцу и его девице. Он бил их по головам, пока его не схватили. Эсэсовцы сорвали с него одежду, проволокли по деревне под градом насмешек и поставили к церковной стене перед стрелковым взводом. Стреляли поверх головы. На этом мучения священника не кончились. Ему накинули петлю на шею, но не повесили, а отправили в Дахау, сообщив, что церковь Горальского служила убежищем для бандитских отрядов.

В Дахау ему устроили особую встречу. Эсэсовцы подготовились к ней и продемонстрировали полный репертуар своих издевательств. Они завели пластинку о черном цыгане, били Горальского и приказывали ему подпевать. Есть люди, которые становятся в концлагере слабыми и беззащитными; Теофил Горальский, напротив, стал сильным – он словно переродился. Он громко молился за своих мучителей, прося отпустить им грехи. Эсэсовцы пришли в бешенство и начали жестоко избивать священника. Они сказали, что будут бить, пока «проклятый бешеный пес» не запоет. Но он лишь тихо стонал.

Его послали на работу к лагерной стене, где меняли старую ржавую колючую проволоку. С утра до вечера Горальский должен был катать тачку. Сто метров вперед. Сто метров назад. С одной стороны лежала куча песка, с другой груда камня. Ему приказали возить песок к груде камня, высыпать песок, грузить камни, бегом отвозить их к куче песка, сваливать камни, затем снова насыпать песок, отвозить его к груде камня – и так без конца. Бессмысленная, изнурительная работа. Но Теофил Горальский не сдался. Он бегал взад-вперед с этой тачкой и громко, на весь лагерь читал молитвы. Он вымаливал у бога прощение своим палачам, а они жестоко избивали «проклятого попа», бросали камнями в «вонючего святого». Он безропотно продолжал возить тачку, не останавливаясь ни на минуту. Он не просил пощады. Он был на пределе сил, но продолжал свою изнурительную работу и не переставал молиться.

И вот наступила та памятная пятница. У стены работали евреи. Охранник-эсэсовец в тот день особенно бесновался. Он не отставал от Горальского и беспрерывно осыпал его ругательствами и побоями.

– Сегодня твой праздник, церковный клоп. Когда-то жиды расправились с вашим учителем. Ты очень похож на него. Ты – копия Христа.

– Господи, прости его, ибо не ведает, что творит! – воскликнул Горальский.

– Мы сейчас повторим всю церемонию, поросячий проповедник. Разве не с бичевания начался праздник? Я воздам тебе то же, что и тому первому святому.

Он схватил колючую проволоку и начал бить ею бегущего Горальского. Тело Горальского и без того уже было покрыто гноящимися ранами после перенесенных пыток. На колючей проволоке оставались кровавые клочья мяса.

– Стой, вонючий поп! Нужно сделать все точно так же, как было тогда. Жиды, помнится, тоже принимали участие в этом.

И он погнал Горальского к группе евреев.

– Видите этого типа, иуды? Это – Христос. Он такой же жид, как и вы. А ну, плетите для него венец. Ведь вы же надели на него терновый венец, не так ли?

Ему робко ответили, что здесь нет терновника. Эсэсовец ударил нескольких заключенных колючей проволокой.

– А это что? Разве вы никогда не видели этого? Прежде жиды использовали терновник, потому что у них не хватило ума изобрести колючую проволоку. Ее изобрели мы. Чтобы выбить из вас глупость. Плетите венец!

Евреи сплели. Эсэсовец поставил Горальского на колени, ударив его сзади сапогом. Священник, покрытый кровью, гноем, потом, стоял на коленях. Он тяжело дышал. Но как только Горальский отдышался, он снова начал молиться. Евреям приказали проклинать его. Они повиновались. Им приказали надеть на него венец. Они надели. Эсэсовец закрепил его ударом своей резиновой дубинки. Евреям приказали плевать в Горальского. Они выполнили и это приказание. Голод, издевательства, пытки эсэсовцев сломили людей, у них уже не было сил сопротивляться.

Но силы Горальского не иссякли. Он сказал, что картина еще не полная.

– Христос нес свой крест,- сказал Горальский. – И язычники распяли его на кресте. Я тоже хочу нести свой крест и быть распятым.

Он получил крест – тяжелый бетонный столб на плечо.

Тащить его было под силу только четверым. Ему приказали носить этот столб взад и вперед.

– Чем же все это кончилось? – спросил я внезапно замолчавшего Друга.

– Не знаю. Он исчез в бункере. Никто не знает точно, что там делается. Даже эсэсовцев пропускают туда по особому разрешению. Тех, кто отсидел в бункере, заставляют поклясться, что они будут молчать. Они, разумеется, рассказывают кое-что своим верным друзьям. В бункере круглосуточно дежурят эсэсовцы, которые беспрерывно ходят по коридору и чуть что – стреляют. В бункере есть стоячая одиночка. Есть камера высотой в полметра, где можно сидеть, лишь согнувшись в три погибели. Когда узникам выдают еду, им приказывают лаять по-собачьи или хрюкать… В Дахау ежедневно разыгрываются тысячи драм. И о многих из них никто никогда не узнает.

На следующий день французов и бельгийцев снова собрали вместе. Мы думали, что нас посадят в эшелон. Но этого не случилось. Нас просто перевели в блок № 19. Там царил такой же распорядок, как и в блоке № 17. Девять человек спали на двух нарах. В бокс загоняли по пятьсот заключенных. Две тысячи «штук», как нас называли эсэсовцы, помещались в блоке, рассчитанном на четыреста человек.

Там я познакомился с Йефом. Он тоже стал моим другом, хотя и являл собой полную противоположность доктору. Я познакомился с ним во время одного трагикомического инцидента. Мы попали в блок № 19 в день «бритья». Нас брили нерегулярно. Староста блока спрашивал обычно, есть ли среди заключенных парикмахеры, и такие сразу же находились: за один день работы им дополнительно давали порцию хлеба и миску супа. Часто в роли парикмахеров выступали люди, которые ни разу и бритвы в руках не держали.

В тот день парикмахером назвался русский. Молодой парень со смешливым лицом, которое совершенно не вязалось с его грязной рваной одеждой и ужасающей худобой. Он выдал себя за парикмахера, и староста блока испытующе посмотрел на него.

– Ты в самом деле парикмахер?

– Так точно, – заверил русский. Он улыбался застенчиво и дружелюбно. – Я очень хороший парикмахер.

– Учти, дурак, я внимательно буду следить за тобой.

– Я побрею тебя первым,- предложил ему русский.

Но староста блока предпочел сначала посмотреть на его работу. И это было разумно с его стороны. Вместо мыла использовалась пемзовая паста, которая изредка появлялась в блоке. Русский набрал ее в руки и начал «намыливать» первого

клиента. Мы все стояли вокруг, недоверчиво глядя на русского. Тот продолжал размазывать пасту руками, а потом помазком. Он явно тянул время. В лагере требовалось все делать очень быстро. Но русский все водил и водил помазком, с улыбкой поглядывая на нас.

– Ну что же дальше? – крикнул на него староста блока.

Русский энергично закивал.

– Сейчас, – сказал он и неуверенно взглянул на бритву и на лицо клиента.

Кто-то толкнул меня в бок.

– Он такой же парикмахер, как я портной,- раздалось на антверпенском диалекте.

Я посмотрел на говорившего. Крепыш невысокого роста. Он, видимо, только что прибыл, если судить по его широким плечам и полному лицу.

– Из Антверпена?

– Да. Меня зовут Йеф. Что это за комедия?

– А ты здесь недавно?

– Со вчерашнего дня. Но уже сыт по горло. Если бы знал, никогда бы не полез к этой немке.

Русский стиснул зубы и поднес бритву к лицу заключенного. Я увидел, как он прищурил глаза, рванул бритву вниз и… порезал клиента. Пострадавший закричал, а староста блока набросился на незадачливого брадобрея.

– Большевистская сволочь! Да ты никогда не держал бритвы в руках!

– Ничего подобного! – громче старосты крикнул русский.- Я брею отлично. Просто у него плохая кожа.

«Парикмахер» получил двадцать пять ударов. В тот день его лишили пищи. Если он остался в живых, то, наверное, навсегда возненавидел профессию парикмахера.

Вечером я разговаривал с Йефом. Он был очень сильный. С ним не страшно пуститься в ночной поход по блоку. Он без труда мог растолкать спящих соседей, чтобы лечь на свое место. Йеф перепробовал много профессий. Он занимался боксом («Ну и досталось мне тогда, черт побери!»), работал в Антверпенском порту, а потом решил добровольно поехать на работу в Германию. «Жена крестьянина, – рассказывал Йеф, – так и не разобралась, кто у нее в постели. Во вторую ночь моего пребывания на ферме я уже перебрался к ней. Эти мофы ни черта не понимают в любовных делах. Она была без ума от меня и все время совала мне лучшие кусочки».

Но кто-то выдал Йефа, и за свои любовные похождения он попал в Дахау.

Это был крепкий орешек. Может быть, поэтому я искал у него защиты. Его не интересовала политика, и в военных делах он разбирался плохо. Йеф был человек без принципов. Он мог говорить лишь о еде, выпивке и женщинах. Затевать с ним серьезный разговор не имело смысла. И все же долгое время он был самым близким моим другом. Такое нередко случалось в концлагере.

Мы были знакомы дней десять, когда вдруг сильному, крепкому Йефу понадобилась моя помощь. Я попал в Дахау, пройдя Бегейненстраат и Байрет. Поэтому у меня переход от нормальной жизни к лагерной произошел постепенно. Но Йефа бросили в концлагерь, вырвав его из благополучной жизни на ферме. Он потерял равновесие, быстро начал худеть и через неделю захворал. Я думаю, у него началось воспаление легких. Он беспрерывно кашлял, одежда была влажной от пота. Надо сказать, что в тифозных блоках люди подолгу не болели – они были так истощены, что уже не осталось сил болеть. Если кто-то простуживался, то однажды утром он уже не мог встать и умирал.

Но Йеф еще мог сопротивляться. Он был очень болен, а в блоке никто не имел права болеть. Либо жизнь, либо смерть, третьего не дано. Можно было попроситься в лазарет, но Иеф не хотел об этом и слышать: «В больнице я погибну, парень». Он остался в блоке и подчинялся законам блока: выходил утром на поверку, поднимался за кофе, выходил вместе со всеми на прогулку, днем вставал за супом, вечером за хлебом. Недели две я помогал ему, таскал на своей спине повсюду. Он весил больше меня, и я обливался потом. Я кормил его, когда он не мог есть сам, помогал держаться на ногах, когда у него не было сил стоять. Я спас тогда жизнь человеку и только потом понял, что сделал это из эгоистических соображений. Я спас его потому, что не хотел потерять его для себя.

Жизнь в блоке № 19 была сплошной мукой.

День начинался с утренней поверки. Для заключенных свободных блоков она проводилась на лагерном плацу, в тифозных блоках – на площадке между двумя блоками.

Поверка начиналась в три – в половине четвертого ночи. Охранники врывались в бокс и кричали: «Подъем! Выходи! Быстрее! Быстрее!» Они подгоняли нас кнутами, и мы, заспанные, с трудом сползали с наших нар. По утрам всегда было ужасно холодно. Ночью у нас часто пропадали деревянные башмаки, и тогда приходилось стоять на снегу босиком. Случалось, что в строю оказывались полуодетые или совершенно раздетые люди, хотя мы старались ложиться спать в одежде.

Нам приказывали строиться по десяти в ряд. Десять рядов по

десять человек составляли колонны по сотне. Старосты боксов загоняли нас в строй.

Прежде чем начать нас считать, старосты боксов долго спорили друг с другом: какое количество «штук» должно быть на поверке. Обычно они расходились в цифрах. И не мудрено было ошибиться, так как вместо умерших ежедневно поступали новые люди. Спорили о том, сколько умерло, сколько находилось в лазарете и сколько осталось в живых. Когда цифра была наконец установлена, начиналась бесконечная поверка. Стоявшему в начале первого ряда всегда доставались удары старосты бокса, считавшего людей. «Десять-двадцать-тридцать». Результат никогда не совпадал с нужной цифрой. Начиналась путаница, приводившая охранников в бешенство.

Через полчаса или через час царил уже полный хаос. Старосты носились вокруг колонны, кричали, размахивали руками и, в конце концов, начинали все сызнова.

В темноте было трудно разобраться, и в некоторых рядах оказывалось по девять человек, в других – по одиннадцать. Горе бедняге, оказавшемуся одиннадцатым. Удары сыпались на него градом. Не меньше попадало и заключенному, стоявшему девятым, хотя этот-то был совсем уже ни при чем.

Все знали «лучшие места» в ряду: пятое или шестое. Из-за них по утрам начиналась борьба. Каждый стремился побыстрее занять «лучшее» место.

Несколько дней подряд и я, таща Йефа на спине, старался занять хорошее место. Если у меня кончались силы – некоторые поверки длились часами, – мы ставили Йефа на ноги и подпирали сзади и спереди, причем я крепко держал его за руки, лежавшие у меня на плечах.

Жив ли ты, Йеф? Где ты?

Смертность в блоке № 19 росла с каждым днем. Смерть в концлагере была обычным явлением. Все происходило очень быстро. Еще вечером человек стоял вместе со всеми на вечерней поверке, а утром был уже мертв. Дежурные по боксу раздевали покойника. Каждый раз поражала ужасающая худоба узников. К ноге умершего привязывали бирку и вытаскивали его на улицу. Там покойников складывали рядом, и они лежали, пока их не забирал «мор-экспресс».

Я видел покойников. Но я не смотрел на них. Я боялся смотреть. Я думал, что стану похож на них, если посмотрю. Мертвецами становились заключенные, с которыми еще вчера вечером кто-то спорил за место в уборной, с которыми еще вчера днем кто-то ссорился из-за того, что их кусок хлеба казался больше, а суп гуще. Я не видел смерти, так как не хотел смотреть.

А умиравшие, видимо, испытывали какой-то стыд и уползали умирать в темный угол, как животные.

Мы и в самом деле в чем-то становились животными. Мы боролись, чтобы сохранить достоинство, дружбу и солидарность. Но все мы пережили момент, когда сохранить это достоинство становилось невозможным. И тогда нас уже не тревожило ежедневное исчезновение знакомых лиц и не волновала чужая судьба. Исчезли Жак ван Бael, Франс ван Дюлкен, Таверньe, Луи Перар. Я их больше не видел, значит, они умерли. Мы тупели и становились эгоистами. Из-за пустяков вспыхивали ссоры, иногда обессилевшие люди набрасывались друг на друга как смертельные враги. А через несколько дней они лежали рядом мертвые на снегу.

Одним из первых уроков концлагеря был вывод, что не следует попадаться охранникам на глаза. Попасться на глаза означало по меньшей мере быть избитым. Если в какой-то день доставалось несколько ударов – этот день считался хорошим. Сложность заключалась в том, что никогда нельзя было заранее угадать, попадешься ты сегодня на глаза или нет. За то, что выпил воды, полагалось двадцать пять ударов. Столько же за то, что не умылся утром. А мы испытывали панический ужас перед умыванием ледяной водой по утрам. Полотенец заключенным не полагалось, и приходилось с мокрым лицом и руками выходить на холод. Нас преследовало чувство неуверенности и постоянная боязнь совершить ошибку. Эсэсовцы поддерживали этот страх, а их приспешники в лагере следовали методу хозяев. Наказывали, если замечали, что у тебя грязные ноги. Наказывали, если одежда не в порядке (а она всегда была не в порядке). Наказывали, если на ногах не было башмаков. Иногда приходилось красть их у товарища с опасностью для жизни. Наказывали, если обращался к капо на «ты». Наказывали и за то, что ты называл его уважительно. Короче говоря, лучше было не попадаться на глаза. Для наказания достаточно было того, чтобы твое лицо не понравилось кому-то из начальства. Горе, если твой страх был замечен. Наибольшее удовольствие эсэсовцам доставляли издевательства над самыми робкими. Горе тебе, если ты носил очки. Плохо приходилось и тому, кто вылизывал миску, – тогда «грязную свинью» учили приличным манерам. А тот, кто не вылизывал, получал свою порцию издевательств как неряха.

Самым благоразумным было по возможности прятаться в толпе. Если окажешься на виду, это может стоить не только побоев, но и жизни. Смерть могла быть и очень легкой – от удара дубинкой по голове – и очень тяжелой, когда жертву клали в умывальне под ледяную струю. Смерть в подобных случаях

наступала иногда только через час, и охранники с интересом наблюдали, сколько времени протянет «крематорская собака».

И пока начальство развлекалось подобным образом, мы ждали на холоде, стуча деревянными башмаками – те, у кого они еще были, – и стараясь никому не попадаться на глаза.

Но рано или поздно это все равно случалось.

Первый раз я по-настоящему попался вместе с двумя товарищами: с Йефом и Маурицем из Букхаута. На один паек хлеба мы выменяли сигарету и по-братски разделили ее на троих, так же как и два оставшихся пайка хлеба. Несмотря на наши ссоры и эгоизм, мы все-таки сохранили какое-то подобие стадного чувства, которое помогало нам существовать в этих условиях. Йеф, Мауриц и я некоторое время были неразлучны. Каждое утро мы собирались где-нибудь, скрещивали руки, поднимали их вверх и громко клялись: «Нас не сломить».

Сейчас это может показаться смешным, но тогда мы не шутили. Моральная стойкость была очень сильным оружием в борьбе за жизнь. А чувство товарищества в тех условиях было необходимо как воздух. Тот, кто уединялся, кто терял мужество, кто тосковал по дому, – тот становился добычей крематория. Мы всю ночь берегли сигарету, чтобы выкурить ее утром. После утренней поверки мы, спрятавшись в умывальне, глубоко затягивались и кашляли до головокружения.

Староста блока поймал нас на месте преступления. Он начал кричать, но самое страшное заключалось в том, что сигарета была выкурена лишь наполовину.

– Что это за безобразие! – орал он.

– Это сигарета, господин староста,- громко ответил я, вытянувшись по стойке смирно.

– Что за кретины?! Курить натощак? Хотите испортить легкие? Давай сюда сигарету!

Я отдал. Если бы мы только этим и отделались, то большой беды не было бы. Он погасил сигарету и сунул себе в карман.

– Я пекусь о вашем здоровье,- продолжал он.- Если вы сами по дурости не заботитесь о своих легких, то я позабочусь о них. Вам нужен свежий воздух и хорошая физическая работа, чтобы прочистить легкие. Надо освободить ваше брюхо от никотина.

Он вытолкал нас на улицу, приказав очистить площадку от снега.

Шел густой снег, и это делало нашу задачу практически невыполнимой. Свежий снег падал на старый утрамбованный слой, покрывшийся гладкой ледяной коркой. Убирать снег без лопат, голыми руками было бессмысленно. Опустившись на колени, мы начали ползать по двору, отбрасывая в сторону

свежевыпавший снег. Из окна четвертого бокса староста, ухмыляясь, следил за нами. При любой нашей оплошности он мог выйти на улицу и прогуляться дубинкой по нашим спинам. Мы старались угодить ему, почти пластом растягиваясь на снегу. Мы слышали его громкий смех и с ненавистью царапали ногтями смерзшийся снег. Наша беспомощность привела его в отличное расположение духа, и часа через четыре он приказал нам прекратить работу.

Мы снова вернулись в умывальню, на сей раз без сигареты, и растерянно, смущенно посмотрели друг на друга.

– Вот так они и ломают нас,- произнесли мы в один голос.

И от того, что мы сказали эти слова все трое одновременно, нам вдруг стало смешно. Наш смех услышал староста блока.

– Ну вот, видите? Теперь вы чувствуете себя гораздо лучше,- бодро сказал он.- Вы уже снова смеетесь. Марш в спальню! Еще пара пинков – и у вас будет больше оснований для смеха.

Он остановился у входа в жилой блок. Первым шел Мауриц. Ему достался пинок под зад, и он торопливо заковылял вперед. Староста блока подгонял его пинками. Йеф только что оправился после болезни. Он был очень худ и все же оставался самым сильным из нас троих. Он глубоко вздохнул и ринулся в блок, надеясь обескуражить старосту своей быстротой. Но он просчитался. Тот шел за ним до самых нар и бил, пока Йеф не забрался к себе наверх. Наступила моя очередь. Я решил сыграть на его чувстве юмора. Твердым шагом вошел в жилой блок, вытянулся перед старостой, повернулся кругом и нагнулся, чтобы получить причитавшийся мне пинок. Брюки на мне просвечивали сзади. Он громко расхохотался, пнул меня сапогом, и я влетел в спальню. Все было бы хорошо, если бы я не стукнулся головой о косяк.

Второй раз я попался на глаза вместе с группой заключенных, когда мы подобрали четыре мороженых яблока. Кто-то бросил их через ограду. Первым к ним подбежал один бельгиец, я видел, как он рассматривал эти яблоки – коричневые, сморщенные, грязные и заплесневелые. Он понюхал их и огорченно вздохнул.

– Что ты собираешься делать?- заволновался я, увидев, что он приготовился выбросить их.

– Одна гниль. Если съешь, сразу концы отдашь.

– Не хочешь есть, отдай мне.

– Умрешь от поноса!

Торжествуя победу, я нес яблоки своим товарищам. Меня считали не очень ловким и непрактичным, но сам я вовсе так не думал. Ведь удавалось же мне все это время прятать перчатки, полученные некогда в подарок от невесты.

– Посмотрите, что у меня,- похвастался я.- Теперь посмейте только сказать, что я не способен ничего достать. Четыре яблока, пожалуйста.

– Они же совершенно гнилые, – сказал Мауриц.

– Не гнилые, а мороженые, – возразил я.

– Лучше уж поешь эсэсовского дерьма, – посоветовал Йеф (он был явно не в духе).

– Не хотите, так я съем один,- заявил я, почувствовав после их слов некоторое отвращение.

Я все же рискнул откусить и сразу понял, что никогда в своей жизни не ел ничего более вкусного. Яблоки напоминали сладкий сироп. Они скверно пахли, но разве мы не миримся с неприятным запахом сыра? Тогда я решил, что обязательно буду специально морозить гнилые яблоки, когда вернусь домой. Я никогда еще не ел таких вкусных яблок и ужасно радовался, что все отказались от них. Второй раз я откусил с такой жадностью, что мои товарищи заколебались. Парень, отдавший мне яблоки и наблюдавший за мной, тоже пожалел, что отказался от них. Он потребовал обратно свои яблоки, и я предложил честно разделить их на четверых.

Разгорелся спор. Вокруг нас собралось человек пятнадцать. Шумная группа, разумеется, привлекла к себе внимание старосты блока. Он устремился к центру сборища, а центром был я. Кто-то бросился на меня, чтобы отнять добычу. Яблоко раздавили у меня в руке, и между пальцами потек сок. Я как раз слизывал его, когда староста приблизился ко мне. Он дважды ударил меня по рукам. Одно яблоко выскочило и попало кому-то в лицо, второе было раздавлено.

– Олух! Никогда не ел ничего, кроме гнили, в своей вонючей стране. Но здесь я научу тебя хорошим манерам!

Я решил попробовать рассмешить его.

– Я уже десять дней не ходил в уборную, господин староста блока. Я думал, что гнильем смогу выгнать гнилье из своего живота.

Он на секунду задумался: смеяться или бить. Тут он увидел, что заключенный, в лицо которого попало яблоко, вытирал лицо пальцами и жадно облизывал их.

– Все вы тут сброд. Надо учить вас хорошим манерам.

И он погнал нас перед собой, всю группу, к стене соседнего барака. Он приказал своим подчиненным обойти помещения блока и выгнать всех на улицу. Заключенные ковыляли к нам, стараясь незаметно спрятаться в толпе. Собрался и персонал блока, они ждали представления.

И представление началось. Оно хорошо известно всем

бывшим узникам Дахау, так как повторялось сотни раз. Правда, иногда с небольшими вариациями. Это было самое любимое развлечение эсэсовцев и нашего старосты, который во всем старался подражать им.

– Стройся! – скомандовал он, и мы поспешили встать в строй, стараясь выровняться как можно лучше. Только так можно было умилостивить мучителя. Стоять смирно, вытянувшись по струнке, руки по швам. И не проявлять страха.

– И это вы называете строем, мерзавцы? Он заработал кулаками, выравнивая строй. Его приспешники подталкивали нас сзади, и это снова нарушало строй.

После того как несколько человек упали на смерзшийся снег и снова поднялись, после того как у некоторых хлынула кровь из носа и появились ссадины, он немного успокоился и решил, что навел порядок.

– В шеренгу по два становись! – скомандовал он.

Мы построились. Теперь в каждом ряду было всего по восемь человек, и строй действительно был ровный. Мы считали, что дальше последуют обычные упражнения: «Лечь, встать, бегом марш, лечь, встать, ползти, танцевать!»

– Повернуться лицом друг к другу!

Это что-то новое. Видимо, на этот раз он решил обойтись без штрафных упражнений, и мы облегченно вздохнули.

– Посмотрите друг на друга внимательнее! Разве вы видели когда-нибудь такие поганые рожи?

Он засмеялся. Мы тоже смеялись в надежде, что это подкупит его.

Но эффект оказался неожиданным.

– Внимание!

Мы встали, недоуменно переглянувшись. Передо мной стоял Йеф и улыбался.

– Разойдись на расстояние вытянутых рук. Достать руками плечи друг друга.

Мы выполнили команду. Кое-кто из персонала начал смеяться. Нас это насторожило. Они, видимо, знали, что произойдет дальше.

– Опустить руки. Правую ногу на десять сантиметров вперед.- Он глубоко вздохнул и засмеялся от удовольствия.

– Хорошо. Начинайте! Бейте изо всех сил в рожу друг другу.

Замешательство и недоумение. Мы искали глаза друг друга. Случалось, мы ссорились из-за куска хлеба, более полной миски супа, из-за лучшего места на нарах, из-за того, что у товарища деревянные башмаки оказались лучше, из-за места в уборной. Но несмотря на все, мы оставались товарищами. Мы стиснули зубы и

стояли не шевелясь.

Староста блока растерялся не меньше нас. Он крикнул резким голосом:

– Вы что, оглохли, идиоты проклятые?

Мы дышали глубоко, с хрипом, неровно. Пальцы вытянутых по швам рук окоченели. Каждый из нас сжался от сдерживаемой ярости. Мы старались как можно больше выпрямиться, развернуть плечи и повыше вздернуть подбородок.

– Что же дальше?

Мы почувствовали гордость за нашу солидарность. Никто не струсил. Стоило сдаться одному, сдались бы, наверное, и остальные. Можно было бы ударить слабо, не причиняя боли друг другу, но тогда мы все равно совершили бы поступок, оскорбительный для нас самих. Мы молча смотрели в глаза друг другу.

– Отказываетесь выполнять приказ?! Ну погодите! Мы научим вас выполнять приказы!

К нам подскочили капо. Обычно это были профессиональные убийцы и садисты-заключенные, ставшие палачами за добавочный кусок хлеба. Они сталкивали нас головами, били с неистовым бешенством. Кровь текла по лицам. Мерзавцы бегали вдоль шеренги, били, пинали, ругались, сыпали проклятиями.

– Почему вы не лупите друг друга? Ведь у вас, проклятых крематорских собак, уже и сил нет, чтобы бить больно. Поколотили бы друг друга, да и отделались бы. А теперь придется испытать силу наших кулаков.

Мы молча смотрели друг на друга, мы словно хотели удесятерить наши силы. Это был запоминающийся момент. Один из тех, о которых мы потом охотнее всего вспоминали. В такие минуты мы почти гордились тем, что были узниками Дахау. В такие минуты исчезали различия в вере, расе, социальном положении, в политических убеждениях, языке, мировоззрении и на первый план выступало чувство солидарности, которое и по сей день существует между политическими заключенными всех стран. Мы не пошевелились даже, чтобы вытереть кровь. У нас пропал страх. В такие минуты человек чувствует себя сильным, несмотря на побои и унижения. Мы еще не совсем превратились в животных. Мы освобождались от животных инстинктов и становились подлинными людьми. Ненавистные палачи могли делать с нами все, что хотели, но они не могли сломить нашу волю. Если Мы продолжали верить в наши идеалы, если мы оставались товарищами, то сила и победа в конечном итоге были за нами. Можно остаться сильным и победить, даже если и погибнешь от руки убийц.

– Внимание! – прокричал староста блока.

Мы снова замерли, ожидая очередного унижения, новых побоев. Я смотрю на Йефа. Простой парень, которого никогда не волновала политика и идеалы которого составляли «хорошая баба да сытый желудок». Но в тот день Йеф показал себя настоящим человеком, так же как и очкарик из Лира – тощий как былинка, казалось, его вот-вот сдует ветром. Наша дружба и ненависть к врагам сделали нас сильными.

– Плюйте друг другу в лицо!

Никто из нас даже не шелохнулся, внутри все клокотало. Мы были сильнее их! В их власти была и жизнь наша и смерть, но они не могли заставить нас повиноваться.

Эсэсовцы часто вот так глумились над заключенными, но самым мерзостным был приказ мазать друг друга нечистотами, а затем счищать их.

Староста блока, встретив наше молчаливое сопротивление, пришел в бешенство. Он орал, брызгая слюной, как сумасшедший. Его помощники помчались в боксы и вернулись, вооруженные ножками от столов и табуретов, плетьми, которыми снабдили их эсэсовцы. Они с криком подлетели к нам. Ярость старосты подстегивала их.

– Последний раз повторяю,- орал он срывающимся голосом. – Плюйте друг другу в поганые рожи!

Мы продолжали стоять неподвижно. И тогда появились эсэсовцы. С проклятиями они начали плевать нам в лицо.

Мы стояли как изваяния. Изваяния, которые можно осквернить, но которые и после этого не утратят своей чистоты. Мы чувствовали их плевки на своих лицах, и каждый, внутренне сжимаясь, внешне старался держаться твердо.

– Это не плевки, слышите вы! Это благородная арийская слюна. Облизывайте морды друг другу!

Но мы по-прежнему не двигались. И тогда нас снова начали избивать. Но уже без прежней ярости. Немцы поняли, что проиграли.

– Три дня без пищи!

Но в тот момент нас это не испугало, главное – мы одержали победу!

Иной раз поступки старосты блока встречали одобрение заключенных. Например, он обычно беспощадно пресекал воровство, если крали у товарищей. Существовало коренное отличие в том, как относились в лагере к обычной краже и к воровству у товарищей. Если кому-нибудь из нас удавалось «организовать» что-либо у эсэсовцев, это поощрялось. Но за кражу друг у друга строго наказывали. Мера наказания зависела от

характера кражи. Предположим, у кого-то пропадали деревянные башмаки и ему не оставалось ничего другого, как тоже украсть. Если он попадался на месте преступления, то получал свои двадцать пять палочных ударов, и дело с концом. Но если кто-нибудь попадался на краже хлеба, то, помимо двадцати пяти ударов, он получал еще взбучку от своих товарищей. Иногда истощенные, слабые заключенные забивали вора до смерти.

Староста блока № 19 однажды особо отличился, наказав группу заключенных-итальянцев. Нам, узникам, пережившим ад, этот случай запомнился навсегда.

Говорили, что итальянцы были партизанами и немцы схватили их где-то в горах. Они показались нам крепкими парнями. Даже староста блока выглядел заморышем рядом с ними. Все мы с удивлением уставились на них, когда их привели в блок. Не известно, по какой причине, но итальянцы остались в своей одежде, в добротных сапогах. Они брезгливо смотрели на нас, одетых в грязные лохмотья.

Правда, скоро от их гордости не осталось и следа. Не прошло и недели, как голод и вши сделали свое дело. Итальянцы стали менять свою одежду и сапоги на хлеб.

Однажды они направили к старосте блока делегата, знавшего немецкий язык. Делегат вытянулся перед старостой по-военному.

– Что тебе, макаронник?

– Здесь нечеловеческие условия,- сказал итальянец.

– Верно,- согласился староста.- Это условия как раз для паршивых итальянских свиней.

– Но мы не можем так жить.

– А никому и не нужно, чтобы вы здесь жили. Вас прислали сюда подыхать, как и всю остальную падаль.

– Но мы хотим выбраться отсюда,- сказал итальянец.

Староста блока разразился хохотом.

– Выбирайтесь! Есть разные способы выбраться отсюда: можно покончить жизнь самоубийством, в Дахау это разрешается. Только надо довести дело до конца, за неудачную попытку строго наказывают-переводят в бункер, а оттуда никто не возвращается. Кроме того, вы должны действовать сами, без посторонней помощи. Если узнают, что вам кто-то помогал, его тоже отправят в бункер. Я припасу вам побольше веревки, если хотите.

Итальянец отрицательно покачал головой.

– Мы не собираемся умирать. Мы хотим жить.

– Бежать…- подсказал староста.- Можно, конечно. Но, к несчастью, все беглецы неизбежно возвращаются обратно. И со всеми поступают одинаково – привязывают к столбу у входа в лагерь, вешают на грудь дощечку с надписью: «Я снова здесь!» А

иногда эсэсовец приказывает повесить на беглеца барабан, и тот должен бить в барабан, обходя весь строй на поверке, и громко выкрикивать: «Я снова здесь!» После этого его привязывают к столбу. И там он висит без еды и питья, пока не умрет. Обычно больше четырех дней никто не выдерживает. Но некоторые неудачники висят иногда целую неделю.

– Мы не собираемся бежать. Мы хотим служить в эсэсовских войсках.

Староста блока окаменел от изумления. Он медленно встал.

– Что вы хотите?!

– Служить в эсэсовских войсках.

– Вот это да! – воскликнул староста, и все заметили, как у него заблестели глаза. Очевидно, у него тут же созрел какой-то план. – Если вы попадете в эти войска, то вам придется драться в России.

– Это не меняет дела. Мы готовы на все. Здесь все равно не жизнь.

– Но ведь вам известно, что в эсэсовских частях служат отборные солдаты вермахта? (Староста решил перестраховаться на тот случай, если разговор дойдет до ушей эсэсовцев.) Туда принимаются только самые храбрые и верные люди.

– Мы хорошие солдаты, воины по призванию.

– Хорошо,- согласился староста. Итальянца даже сбила с толку его сговорчивость.- Зови сюда своих макаронников.

Не прошло и трех минут, а в блоке уже знали о просьбе итальянцев. Мы были полны негодования.

Итальянцы ждали на улице. Они стояли молча, сбившись в кучу, а как только появился делегат, построились в колонну по четыре и зашагали к четвертому блоку. Это было жалкое зрелище. Со всех сторон их осыпали оскорбительными ругательствами.

– Вот погодите, проклятые макаронники, русские покажут вам! Они уложат вас всех.

– А вы тут передохнете!

Староста блока вышел на улицу. Мы поспешили отойти подальше, но ему в тот момент было явно не до нас.

– Все собрались?

– Так точно.

– Все согласны?

– Все.

– Спроси еще раз.

Делегат повернулся кругом и сказал что-то своим землякам. Все утвердительно закивали и громко крикнули: «Да, синьор!»

– Слышите, все согласны.

– Имейте в виду, фронт не забава. Объясни им. Еще не поздно передумать.

Делегат перевел, но итальянцы были непоколебимы.

– Они не изменят своего решения. Они хотят уйти отсюда и готовы на все, чтобы оказаться на воле.

– Прекрасно,- произнес староста. – Посмотрим, подходите ли вы для службы в эсэсовских войсках. Я устрою вам нечто вроде вступительного экзамена. Мне бы не хотелось, чтобы вы произвели плохое впечатление, когда на вас наденут эсэсовскую форму. Я буду тренировать вас сам.

Мы бросились в боксы и приникли к окнам. Сначала итальянцы восприняли слова старосты всерьез. И тот принялся за дело. Он заставлял их маршировать, делать пол-оборота вправо, останавливаться, маршировать на месте. Но постепенно тренировка превратилась в издевательство. Она длилась целый день. Старосты боксов раздавали заключенным суп, а итальянцам оставалось лишь в отчаянии смотреть на котлы.

– Вам не положено есть эти помои,- заявил им староста

блока.- Скоро вы получите особый паек. Кроме того, один день поста не повредит эсэсовскому молодцу. Лечь – встать – шагом марш! Лечь – ползти – встать! Бежать назад – лечь – ползти! Не на четвереньках, идиоты! Ползите по-пластунски! А теперь – прыгать по-лягушачьи! Бежать утиным шагом! Лаять по-собачьи! Все это надо уметь. Вы должны научиться подражать крикам животных.

Бесконечная муштра! Мы видели, как старосте стали помогать капо. Они подгоняли пинками в спину тех, кто недостаточно быстро поднимался с земли, или тех, кто медленно ложился.

– Не смейте падать на руки, идиоты! Когда засвистят пули, надо падать плашмя. Лучше разбить морду, чем получить пулю в живот.

Тренировка закончилась лишь перед ужином. Итальянцы не получили хлеба. Он достался начальству блока.

– Итак, закончился первый день, – сказал староста блока довольным тоном. – Эту группу упражнений вы делали неплохо. Завтра, безусловно, дело пойдет лучше. Ничего, у нас впереди еще две недели. Конечно, если вы еще не изменили своего решения…

Итальянцы, тяжело дыша, крепко держались друг за друга, чтобы не упасть.

– Итак, вы не передумали? Желающие служить в эсэсовских войсках – шаг вперед!

Желающих не оказалось.

Через несколько дней после этого случая бельгийцев и французов согнали вместе и вывели из блока. На лагерной аллее мы встретили еще одну группу бельгийцев и французов, и я узнал в них заключенных из Байрета, прибывших в Дахау, как и я, 1 декабря 1944 года. Их осталось всего человек двадцать пять. Значит, выжил один из восьми. Остальные погибли.

Нас привели на плац, где уже ждали другие заключенные. У них был такой же жалкий вид, как и у нас. Все продрогли до костей, в глазах можно было прочесть один и тот же вопрос: «Что будет дальше?»

Среди нас больше не было оптимистов, уверявших, что война кончилась и что нас обменяют на немецких военнопленных. Никто уже не говорил, что все самое страшное позади. Мы просто стояли и ждали.

К нам обратился эсэсовец. Он не кричал, не требовал держать равнение в строю.

– Вы направляетесь в особую «бомбовую команду». Вас поместят в товарные вагоны, и с этого момента вы будете жить на железной дороге. Будете делать остановки там, где бомбили

воздушные бандиты, и восстанавливать то, что разрушено. Вас будут хорошо кормить. После ликвидации следов налета поедете дальше. Это для вас единственная возможность заслужить доверие.

Его слова звучали в наших ушах как музыка. Наконец-то прочь из лагеря!

– Ясно одно – хуже не будет,- сказал я.- Что может быть страшнее тифозных бараков?

Мы вышли за ворота. Спокойно разговаривали друг с другом, и никто нас не останавливал, не кричал, не набрасывался на нас с дубинкой, не науськивал собак. Мы неожиданно приобрели для немцев какую-то ценность. Такого еще не случалось. Нас доставили на лагерную станцию и там передали в руки тридцати ополченцев, одетых в военную форму. Все – в возрасте не менее пятидесяти лет. В последнее время в лагере стало появляться все больше пожилых солдат. Их называли секретным оружием Гитлера- Фау-3. Позднее явились и Фау-4: старики на костылях, которых фюрер заставил надеть солдатскую форму. Эсэсовец, сопровождавший нас, отошел в сторону. Ополченцы рассматривали нас с любопытством.

– Да, силачами вас не назовешь,- сказал пожилой лейтенант.- Разместитесь по двадцать человек в вагоне. Если хотите попасть со своими, держитесь вместе.

Нас никто не подгонял, не ругал. По всему было видно, что они делали дело, которое им самим не очень нравилось, они явно предпочли бы сидеть дома с газетой в руках, сунув ноги в домашние туфли.

Мы разделились на группы, после чего лейтенант сказал:

– Вам, наверное, рассказывали, что от вас требуется? Будете вести себя спокойно, мы вам не станем надоедать. Попытаетесь бежать – расстреляем. Остальное вам расскажут в пути. Начинайте посадку, чертовски холодно.

Мы разошлись по вагонам. По двадцать человек с пятью охранниками. На одной стороне вагона находились места для охраны, на другой стояли трехэтажные нары для нас – как в лагере. Только здесь полагалось одно место на двоих.

Поезд сразу же отправился. Толстый ефрейтор снял полотенце с корзины, стоявшей в центре вагона. В ней лежал хлеб.

– Вы будете получать такой же паек, как и мы. Триста граммов хлеба утром, суп днем и вечером. У вас такой вид, словно вы несколько месяцев не ели.

Мы промолчали, еще не понимая, в чем дело – немцы спокойно разговаривают с нами, раздают хлеб… Ополченцы

аккуратно резали его ломтиками, мы же мгновенно съели все разом. Только после того, как хлеб был съеден, мы поняли, что все это происходит наяву. Мы слушали стук колес на стыках, гудок паровоза. За решетками окна пролетали вершины деревьев, столбы и провода. Нет сомнения – мы удаляемся от Дахау.

Немцы молча наблюдали, как мы ели.

– В лагере было не сладко?- спросил один из них.

Мы утвердительно кивнули.

– У нас будет лучше.

Мы переглянулись, не веря своим ушам. Остальные немцы спокойно продолжали есть, не вмешиваясь в разговор. Может быть, они против Гитлера?

– У нас не принято кричать «хайль Гитлер».

– Там мы тоже обходились без этого,- заметил я угрюмо.

– Говоришь по-немецки?

– Ты же слышишь,- ответил я, подчеркнув это «ты», чтобы вывести его из себя. Но он никак не отреагировал. Возможно, эти немцы бравировали своей простотой в обращении и нарочно вели все эти разговоры, чтобы им было легче добиться от нас повиновения. Видимо, им не хотелось лишних хлопот. Когда человеку уже за пятьдесят, ему хочется только одного – чтобы его оставили в покое.

И все же мы радовались. Даже немецкий звучал в устах наших теперешних охранников не так грубо, как у эсэсовцев или лагерного персонала.

– Откуда вы?

– Из Бельгии.

– В прошлую войну я воевал в Бельгии. Схватил ревматизм на вашей проклятой реке Эйзер. Как называется тот город… Дикельмюде?

– Диксмейде.

– Ах да, Диксмейде. Война – скверная штука.

Через некоторое время поезд остановился. Охранники открыли дверь.

– Кому пришла нужда – сходите. Только не вздумайте бежать. При малейшей попытке к бегству будем стрелять. Мы не собираемся вас истязать, но и рисковать ради вас жизнью не желаем.

Мы вышли из вагона, чтобы оправиться. Ополченцы выставили охрану, но не для того, чтобы стеречь нас,- они должны были не подпускать к составу посторонних. Остальные начали разбирать деревянный забор вдоль путей.

– Не погибать же в самом деле от холода.

Угля нет, вот все и воруют дрова. И потом, если мы не

разберем этот забор, то завтра или послезавтра его все равно уничтожат американцы.

Нас они помогать не просили. Видимо, они поняли, что у нас нет сил работать, и стали сами передавать доски друг другу по цепочке.

– Надо позаботиться о том, чтобы у нас всегда был запас дров. Мало этой проклятой жизни на колесах, мы еще будем околевать от холода!

Растопили стоявшую посередине вагона черную печку-времянку, и от нее начало расходиться приятное тепло. С каждой секундой мы удалялись от Дахау. Кошмарный сон кончился. Гудок паровоза звучал для нас как сигнал освобождения, перестук колес – как ликующий зов надежды. Только теперь мы поняли, что вырвались из лагеря смерти. Мы недоуменно смотрели друг на друга, боясь поверить неожиданному счастью.

Обстановка в вагоне была почти домашняя. Никакой брани, никаких побоев. Ополченцы рассказывали друг другу соленые анекдоты, совсем как наши солдаты, и громко хохотали. Показывали друг другу семейные фотографии. Вспоминали сына соседа, сложившего голову в России, судачили о чьей-то дочери, забеременевшей от поляка. Они курили сигареты, и, если кто-то из них бросал окурок, мы тут же подбирали. Казалось, что мы снова стали людьми, хотя и находились под охраной врагов.

Но действительно ли они были врагами? А не ошибались ли мы, считая, что все немцы заодно с нацистами? Может быть, в душе эти ополченцы даже сочувствовали нам? А что, если они по горло сыты своим фюрером и его нацистской бандой? Впрочем, если они и не были нашими врагами, то не были и нашими союзниками. В противном случае они должны были восстать, как восстали мы, как восстали против Гитлера в самой Германии немцы в 1934 году.

Но тогда мы не очень задумывались над этими вопросами, так как чувствовали себя почти счастливыми. Теперь, выбравшись из лагеря, мы были уверены, что переживем войну.

Однако многие из нас потеряли в лагере слишком много сил. На следующий день несколько человек заболели, в том числе и я. Никакой боли я не чувствовал, температуры тоже не было – просто совсем обессилел и пропало желание двигаться. Я не вставал с нар, мной овладело безразличие ко всему на свете. Я не ел, отказался даже от окурка сигареты.

В эшелоне был врач. Он осмотрел заболевших. До сих пор вижу его скептическую ухмылку, когда он сказал, пощупав мой пульс: «Неужели они там не заметили, что парень отдает концы?»

Поезд стучал по рельсам, а я готовился к смерти. Смерть не

была страшна, смерть-это вечный покой, избавление. Я мыслил возвышенными категориями… Вся жизнь-тюрьма, из которой освобождает только смерть.

– Что с тобой? Плохо?

Спрашивал кто-то из наших. Теперь я уже не помню его фамилии.

– Возьми мой хлеб,- сказал я.

– У тебя что-нибудь болит? Надо держаться. Сейчас нам стали давать больше еды, мы должны выкарабкаться.

Он не понимал меня. Он не знал, какой заманчивой казалась мне теперь смерть, не осознавал, что я обрел новую цель жизни – смерть.

– Возьми мой хлеб. Я не хочу есть.

– Я спрячу его для тебя.

– Не надо, ни к чему. Я не хочу есть. Ешь сам.

В ту ночь умер мой сосед по койке.

Я смотрел на покойника.

Смотрел так, как когда-то мне советовал голландский доктор.

Сначала я смотрел равнодушно, без особого волнения. Мне хотелось знать, что происходит с человеком, когда смерть освобождает его от мук. На его губах застыла страшная усмешка, словно смерть обманула его, словно он ждал от нее чего-то другого. Я вдруг представил себя на его месте. Я вспомнил слова Друга о том, что надо смотреть на покойника и думать, что он умер такой смертью, какой сам ты умереть не хочешь.

Один из охранников сказал:

– Уберите беднягу.

Мы все помнили, как поступали с умершими в лагере. Здесь сделали то же самое: покойника стащили с нар, его голова стукнулась о пол вагона. Затем его начали раздевать. Охранники чертыхались – от покойника дурно пахло. Я приподнял голову, чтобы лучше видеть. Ополченцам явно не хватало ловкости, которой отличался лагерный персонал: покойник то и дело валился набок, когда с него пытались снять куртку. Наконец умершего раздели. Глаза его были все еще широко открыты. И смотрели на меня. Я не отвернулся. «Нет,- подумал я.- Только не такая смерть! Я должен жить! Добро должно восторжествовать над злом!»

Один русский писатель, переживший концлагерь, писал впоследствии: «Мы победили смерть!» В ту ночь я тоже победил ее.

Тело подтащили к двери. Поезд продолжал идти. Охранники открыли дверь и тут вдруг словно что-то вспомнили. Посмотрев номер на куртке покойного, начали искать клочок бумаги, кусок

бечевки и карандаш. Карандаш нашелся, остального не оказалось. Тогда номер написали прямо на груди и оставили труп лежать у двери. Паровоз гудел.

Я приподнялся на своей койке и подозвал товарища, которому отдал свой хлеб:

– У тебя совсем не осталось хлеба?

– Полпорции.

– Дай мне, пожалуйста, немножечко.

Он отдал мне все, что у него осталось. Однако у меня не было сил разжевать хлеб. Я жевал его дольше, чем Франс ван Дюлкен, и наконец с трудом протолкнул в горло. И все-таки я заставил себя съесть весь хлеб. На следующий день я съел суп, отпивая его маленькими глотками. Глоток – передышка. Еще глоток – опять передышка. Точно так же я разделался и с хлебом. Я съел его, размочив в супе. Врач снова пощупал мой пульс и, опять скептически улыбнувшись, покачал головой. Потом что-то тихо сказал охране. Все смотрели на меня. «Неправда, – думал я – Я не умру! Я не дам себя сломить!»

Через день один вагон отцепили от состава. Туда перевели всех больных. На двух койках поместили четырнадцать человек. Мы снова стали лишними, и поэтому нас не кормили, а мы все не могли догадаться, в чем дело. Кроме больных, в вагоне никого не было – даже охраны. Наконец мы услышали шум подошедшего паровоза. Толчок – очевидно, прицепили вагон,- и мы снова двинулись в путь. Нас охватило глубокое отчаяние, так как мы поняли, что едем в обратную сторону. Назад! Из лагеря мы ехали дня четыре, обратно- значительно быстрее.

Впоследствии мне приходилось видеть фотографии поездов смерти Дахау. Я ехал в таком поезде, состоявшем из одного вагона. Все мы страдали, нарочно терзали друг друга и были совершенно безучастны к тем, кто больше всех жаловался, и к тем, кто умирал. Разговоры стихли. Самые слабые умирали молча. В вагоне пахло тленом. Каждый уже видел себя разлагающимся трупом. Я видел смерть. Я читал ее на лицах своих спутников. Но сейчас она не манила меня, она казалась мне ужасной.

Мы снова прибыли на лагерную станцию. Не могу сказать, как долго мы ехали: три часа или три дня. Во всяком случае, обратный путь показался мне намного короче. Я знал, что мы снова в Дахау, еще до того, как открыли дверь нашего вагона. Орали эсэсовцы, и этот гортанный крик показался мне еще более варварским, чем раньше. Неистово лаяли собаки.

Я зарыдал. Я плакал от бессилия, от отчаяния, от ярости. Я рыдал от страха перед смертью и от безумного желания жить.

Плакал не один я. Все оставшиеся в живых плакали. Мы выбрались из ада и вернулись обратно еще более слабыми и измученными, чем прежде. Почти половина товарищей погибла.

Дверь раскрылась со скрежетом, полоснувшим по сердцу. Крики стали громче, собачий лай злее.

– Выходи! Быстрее! Быстрее, проклятые крематорские собаки!

Никто не двинулся с места. Не было сил.

Но эсэсовцы способны поднять и мертвого. Они ворвались в вагон, накинулись на нас с бранью, угрожая крематорием. Они нещадно колотили дубинками по лежавшим на нарах живым и мертвым. Мертвые остались лежать, а мы выползали из вагона со слезами на глазах. Нам приказали подтащить покойников к двери и выбросить их из вагона. Но у нас не было сил. Втроем или вчетвером подталкивали труп к двери, а потом падали сами, падали на трупы и, плача, с трудом выбирались из груды тел. Нас мучила жажда, и мы совали в рот горсти снега. Эсэсовцы пытались поднять нас побоями, но все было тщетно. И тогда они спустили на нас собак. Один из них крикнул, что собаки перегрызут нам глотки, если мы не встанем. Но даже и тогда мы не встали – мы были на грани полного истощения.

В лагерь послали капо, который вскоре вернулся с «мор-экспрессом». Я узнал его. Лежа на животе, чтобы легче было хватать ртом снег, я увидел мрачные лица людей, двигавших повозку. Я знал, что в Дахау они символизируют смерть. Я вспомнил, как Друг рассказывал мне, что мертвых и живых вместе бросают в печи крематория. Я уперся руками в снег и попытался приподняться. Напрасные усилия… Мне почему-то стало ужасно жарко.

– Быстрее грузите эту падаль!

Нас побросали в повозку. И живых и мертвых. Я постарался выбраться наверх, чтобы соскользнуть с повозки по дороге, и тут вдруг вспомнил о человеке, который вот так же падал несколько раз, но его снова поднимали, и он оказывался в повозке. Возможно, сегодня мне повезет. Возможно, сегодня эсэсовцы просто посмеются надо мной и оставят в покое…

Возле лагерного плаца «мор-экспресс» остановился. Эсэсовец отдал какое-то приказание, и перевозчики трупов забрались в повозку. С привычным равнодушием они быстро отделяли мертвых от живых, подобно тому как рыбак сортирует рыбу. Живых сбросили тут же, на лагерном плацу. Трупы остались в повозке, которая скрылась в том направлении, где поднималось облако черного дыма.

– В душ! – накинулись на нас эсэсовцы.- Встать! Марш в душ!

Мы продолжали лежать. Эсэсовцы схватились за пистолеты,

послышались щелчки предохранителей.

– Через три минуты всем быть в душе. Кто не явится, будет расстрелян.

Мы задвигались, поползли. Эсэсовцы хохотали. Мы с трудом передвигались на четвереньках. Некоторые ползли на животе. Несколько человек поднялись на ноги, сделали два-три шага и снова упали. Эсэсовцы били ползущих людей по спине.

Я приблизился к одному товарищу.

– Говоришь по-немецки?

– Немного.

– Надо встать. Давай поможем друг другу. Я поднялся на колени и помог встать ему. Он положил руки мне на плечи. И мы пошли, поддерживая друг друга. Нашему примеру последовали те, у кого еще были силы. Но многие так и остались лежать на плацу. Мы не слышали выстрелов. Наверное, эсэсовцам даже не понадобилось стрелять. Кое-как мы добрались до бани, с трудом разделись. Все одинаковые, как скелеты, все в гнойных язвах, у всех ввалившиеся лихорадочные глаза. Горячая вода смывала вонючую грязь и пот.

– Быстрее, быстрее, шакалы! Скребите чище вашу поганую шкуру!

Казалось, вода, падавшая на наши головы, весила тонны. Мы с трудом стояли на ногах, крепко держась друг за друга, и если падал один, то за ним тут же следовал второй.

– Не желаете мыться?! Сейчас мы вас вымоем. Научим вас, свиней, мыться.

Эсэсовцы с руганью бросились к нам, не обращая внимания на то, что попадали под струю. Они и в самом деле стали «мыть» упавших – на свой эсэсовский манер. Волокли их по цементному полу в угол бани, где стояло несколько бочек, и бросали свои жертвы в бочки, вниз головой. Я видел, как конвульсивно вздрагивали ноги, торчавшие из бочек. Крепко держась одной рукой за товарища, я мыл его, а он помогал мыться мне.

Воду выключили.

– Выходи!

Они выгоняли нас раздетыми на мороз. Мы уже не могли думать, не могли надеяться, двигались как призраки. Нагие, мокрые, плелись мы к куче приготовленной одежды. Там мы сели, чтобы натянуть брюки. Никто из нас не мог бы устоять на одной ноге даже с помощью товарища, чтобы надеть брюки. Мы поочередно помогали друг другу садиться и вставать. Наконец мы облачились в брюки, рубашки и куртки. Деревянные башмаки казались свинцовыми. Но мы ковыляли по лагерной аллее, стиснув зубы. Раз уж мы пережили столько мук, нужно пройти

весь путь до конца. Иначе проще было бы остаться лежать там, на лагерном плацу.

К счастью, мы не знали, что нас ждет, иначе мы не выдержали бы. Мы надеялись, что нас приведут в блок № 17. Но нас провели мимо, и мы решили, что нас ведут в блок № 19 или в № 21, однако для нас предназначался блок № 29 – последний на правой стороне. Впрочем, это не совсем точно. Позади блока № 29 за оградой находился еще блок-под номером 31. Там помещался бордель.

Блок № 29 был самый ужасный блок в Дахау. Раньше в него направляли штрафников, теперь он превратился в обычный тифозный блок, подобно всем остальным нечетным блокам. Старостой блока был хромоногий чех. Бельгийцы, которых поместили в этот блок, дали ему излюбленное прозвище «Дурак». И он полностью оправдывал это звание.

Во втором боксе я нашел своего Друга – голландского доктора. Вернее, это он нашел меня. Он спал наверху, мы же – те, кто прибыл в эшелоне смерти, – не могли забраться выше нижних нар. В блоке № 29 совсем не осталось соломенных тюфяков – их сожгли, чтобы избавиться от вшей. Но вши не исчезли. Как в блоках № 17 и № 19, так и в блоке № 29 было полно вшей, блох и клопов. Мы спали прямо на досках, неровных, неплотно сбитых. Острые края досок впивались в тело.

Друг сосчитал мой пульс, прослушал меня. Я напряженно следил за его лицом. Ждал скептической усмешки и покачивания головой. Но он сказал обычным тоном:

– Плохи твои дела. Да ты и сам это знаешь.

– Я, едва не умер,- сказал я.- Уже приготовился к смерти. Но в последний момент увидел мертвеца. Ты оказался прав – надо смотреть на покойников.

Он утвердительно кивнул:

– Еще бы, я ведь старая лагерная крыса.

– Опасная болезнь?

– Дело не только в болезни. Не умрешь, если не захочешь. Я знал многих, которые были гораздо здоровее тебя, и все-таки отдавали концы. И в то же время люди вроде тебя, которые были очень плохи, постепенно поправлялись. Абсолютно здоровым в Дахау ты не станешь. Но это не так уж важно. Главное – дожить до последнего дня. После войны врачи, питание и любовь помогут выкарабкаться таким молодым парням, как ты.

– У меня тиф? – спросил я, и он, вероятно, уловил страх в моем голосе.

– Не знаю, но думаю, что ты мог заболеть и тифом.

– Если я теперь заболею, то умру.

– Не надо бояться тифа. Я же говорил тебе, что переболел им. Ты должен заставлять себя съедать хлеб, даже если тебе противно смотреть на него. Ты должен бороться с лихорадкой, иначе потеряешь сознание, а тогда вообще не сможешь бороться. Откуда вас привезли?

– Потом расскажу,- пообещал я.- Сейчас не могу. Нет сил.

– Да и не надо. Твоим легким сейчас нужен покой. Лежи. Поговорим завтра или послезавтра. Я расскажу тебе о Рашере.

– О Рашере?

– Я тебе рассказывал о нем раньше. Приятель Гиммлера и чемпион по медицинским экспериментам.

И Друг рассказал мне о том, как многие врачи занимались преступными экспериментами в Дахау. Ученый с мировым именем профессор доктор Клаус Шиллинг создал в Дахау «малярийную станцию», где заключенных заражали малярией, для чего в лагерь специально доставляли культуры бактерий. Одни врачи производили эксперименты, другие ассистировали им. Но наиболее поразительной является история Зигмунда Рашера.

Рашер был нацистом и врачом. Сначала нацистом, потом врачом. Его отец тоже был врачом, но в 1939 году Рашер выдал его, так как тот выступал против нацизма. Рашер был военным врачом – капитаном ВВС. О его личной жизни ходили всякие слухи. Рассказывали, что он был женат на женщине, которая близко знала Гиммлера, и якобы она-то познакомила с ним Рашера.

В мае 1941 года Рашер написал письмо Гиммлеру, в котором просил разрешения проводить опыты на людях. В то время он служил в Мюнхене и вел исследования в «наземном центре высотных полетов ВВС». Чтобы определить состояние летчиков на различной высоте, Рашер предлагал помещать в барокамеру не животных, а людей. Гиммлер дал разрешение использовать для этой цели заключенных, и Рашер постоянно сообщал Гиммлеру о ходе исследований. «Подопытных кроликов» помещали в барокамеру, давление в которой соответствовало высоте от 10,5 до 15 тысяч метров. Люди, как правило, погибали.

«Исследовательская работа» Рашера получила явное одобрение Гиммлера. С его разрешения Рашер начал изучать проблему спасения жизни людей при переохлаждении. С этой целью в Дахау в блоке № 5 были установлены специальные ванны, в которые помещали заключенных, одетых в полное снаряжение военного летчика, включая спасательный жилет. В сентябре 1942 года Рашер сообщил Гиммлеру, что смерть наступала при охлаждении тела ниже +28°. Он докладывал, что

для восстановления жизнедеятельности пострадавшего рекомендуется использовать горячие ванны, специальные одеяла, а также естественное, так называемое «животное» тепло.

Помощники Рашера отказались продолжать опыты. Они считали, что Рашер преступно распоряжается человеческими жизнями. Но это не остановило Рашера. Он написал Гиммлеру, что готов продолжать опыты один, и получил неограниченные полномочия для продолжения своих чудовищных экспериментов. Он решил проблему согревания охлажденных людей с помощью «животного тепла». Для этого он использовал привезенных для этой цели женщин из Равенсбрюка. Заключенных помещали в ванны с температурой воды от +4 до +9 градусов и держали их там до тех пор, пока температура тела не доходила до +30°. Затем их в бессознательном состоянии укладывали на кровать между двумя обнаженными женщинами и прикрывали одеялами. Сотни заключенных поплатились жизнью за преступные опыты Рашера.

Однако и сам Рашер кончил плохо. Он впал в немилость. Командованию стало известно, что Рашер растратил крупные суммы денег, полученных на проведение опытов. После первого ареста Гиммлер поспешил на выручку Рашеру, но потом бросил его на произвол судьбы – «они слишком много знали и не умели молчать». Жену Рашера Нини Дильс повесили в Равенсбрюке, его самого заточили в бункер Дахау, а затем расстреляли.

Мои силы восстанавливались очень медленно. Друг не отходил от меня. Он все время внушал мне одно и то же: надо без страха смотреть на умирающих, стараться есть, не терять сознания, стремиться дожить до дня освобождения.

Я перестал бояться смотреть на умирающих. На моих глазах умер с улыбкой француз. Он лежал на нарах и бредил. Его глубоко запавшие глаза сверкали. Он говорил о конце войны, о поражении бошей, о возвращении домой. Все понимали, что он бредит, но внимательно слушали его.

– Ты собираешься домой?

– Да. Завтра все французы поедут домой.

– А бельгийцы?

– Французы. Я – француз. О бельгийцах ничего не знаю.

Он улыбался, и его лихорадочные глаза радостно сверкали.

– А на чем ты поедешь?

– На поезде. Сразу в Париж. Там я позвоню маме, и они встретят меня на машине. Вся семья выйдет навстречу. С музыкой и цветами. Хочу, чтобы это случилось завтра.

– Кто тебе сказал, что завтра ты поедешь домой?

Но он не понял вопроса – не хотел понять.

– Завтра я буду дома. Дина будет смеяться, увидев меня таким тощим. Дина – это моя девушка. Она обязательно встретит меня в Париже.

Больше он не сказал ни слова, он умер сразу, и никто из нас даже не заметил, когда он перестал дышать. На его лице так и застыла счастливая улыбка.

Второй француз умер рядом со мной. Заключенные блока № 29 были в то время настолько слабы, что почти не поднимались со своих мест. Даже староста блока, Дурак, не отваживался выгонять обессилевших от голода людей на поверку, на раздачу супа и хлеба. Каждая попытка сделать это приносила ему и остальному персоналу блока массу хлопот, так как заключенные мерли как мухи. Суп и хлеб раздавали прямо на койках.

Мой сосед умер утром. Еще вечером он разговаривал со мной и лимбуржцем Альбертом, который спал рядом с ним с другой стороны, пожелал нам спокойной ночи.

– Умер. Уже холодный,- объявил утром Альберт.

– Молчи,- прошептал я, и он сразу понял, что я имел в виду.

Речь шла о том, чтобы оставить умершего на его месте как можно дольше, тогда в течение нескольких дней его суп и хлеб мы делили бы между собой.

Мы закрыли глаза и рот умершему и, когда принесли еду, попросили отдать нам его порцию.

– Что случилось? – поинтересовался разносчик.

– Он спит, заболел.

Три дня все сходило нам с рук, но на четвертый дотошный разносчик попытался разбудить спавшего и разразился проклятиями:

– Грязные собаки! Всем вам надо всыпать по двадцать пять ударов.

– А мы не знали, что он умер,- пытался оправдаться я.- Час назад он еще разговаривал с нами.

Умершего стащили с нар. Вид у него был ужасный. Его с трудом раздели, привязали к ноге бирку и выволокли на снег, где лежали остальные покойники.

В блоке № 29 я впервые на собственной шкуре испытал, что значат пресловутые двадцать пять палочных ударов.

В наш блок попали несколько русских. К русским и полякам в лагере относились еще хуже, чем к нам. За малейшую провинность их строго наказывали и часто лишали хлеба. Им приходилось выкручиваться, и они обычно старались обменять на хлеб какие-нибудь вещи: зубную щетку, носок, разбитые очки. Как правило, спрос был невелик. На сей раз «товар» русского меня соблазнил. Он предлагал самодельные тапочки, сшитые из куска

одеяла, очень теплые на вид.

– Новые тапочки за порцию хлеба,- говорил он, медленно проходя мимо нар.

– Полпорции,- предложил я. Он покачал головой.

– Новые тапочки. За целую порцию.

Мы торговались. Но тут подошел староста блока. Он был не в духе и обрадовался случаю сорвать на нас свою злобу. Дурак выгнал нас из бокса, обвинил в нарушении лагерных правил и собственноручно всыпал по двадцать пять палочных ударов.

Двадцать пять палочных ударов было официальное лагерное наказание, которое обычно применялось эсэсовцами. Наказание тяжелое и унизительное. Была сооружена специальная скамейка «козел». Два эсэсовца попеременно били заключенного прутьями, смоченными в воде для большей гибкости. После порки раны смазывали йодом, а жертве приказывали делать приседания для укрепления мышц. Затем наказанный должен был громко прокричать, за какой проступок он получил «заслуженное возмездие».

В тифозных блоках это наказание назначал староста. Специальной скамейки здесь не было, и били прямо на столе, а вместо прутьев пользовались дубинкой или ножками табуретов.

Сначала наказали русского, а мне велели смотреть. Я уже раньше видел, как били товарищей в блоках № 17 и № 19. На меня эта процедура действовала ужасно. Я старался отойти подальше и не смотреть, так как все равно ничем не мог помочь жертве. Присутствовать при избиении товарища всегда тяжело, но в этот раз мне было во сто крат хуже, так как я знал, что сейчас наступит моя очередь. Теперь даже посещение зубного врача казалось мне не таким страшным, как предстоящее наказание. Я предпочел бы лечь на стол первым. Но мне предстояло вначале пережить все вместе с русским. Его вид вызывал у меня глубокое сострадание. После каждого удара его тело содрогалось, он стонал и громко считал: «Drei, vier, funf…» Во время наказания жертву заставляли отсчитывать удары, причем на немецком. Но заключенные часто ошибались в счете, и экзекуция продолжалась до тех пор, пока счет не оказывался верным. Русский парень ошибся всего один раз – на пятнадцатом ударе. Он сосчитал до двадцати, а потом вдруг замолк – потерял сознание. Его отвязали, и он упал на снег. Староста блока не разрешил никому подходить к наказанному, так как ему еще предстояло стать свидетелем моего позора.

Но русскому было не до меня. Он неподвижно лежал на снегу. Я старался показать, что им не удастся меня сломить. Но никто даже не обратил на это внимание. Меня схватили и,

несмотря на мое отчаянное сопротивление, привязали к столу. Больше всего я боялся первого удара. Мне почему-то казалось, что все последующие будут слабее, я считал, что после русского у Дурака осталось мало сил. Староста блока поплевал на руки. Я уже знал, что сейчас он готовится к удару, заносит дубинку и выбирает место, куда ударить. От страха я весь покрылся испариной, но твердо решил не кричать, чтобы не доставлять удовольствия проклятому палачу. Я стиснул зубы. И тут последовал первый удар.

Боль! Ужасная, непередаваемая боль пронзила все тело, словно огненные стрелы впились в меня, словно тысячи молний поразили мой мозг. Я услышал свой душераздирающий крик. Дернул головой. Но чьи-то сильные руки прижали меня к столу. Глаза ослепли от слез. От слез боли и унижения… От слез обиды, потому что я все же закричал… От слез жгучей ненависти…

– Раз! – крикнул я.

Оказалось, первый удар был еще не самым страшным. Каждый последующий усиливал боль. Палач старался попадать в одно и то же место. Казалось, что с каждым ударом у Дурака прибавляется сил. Я уже не чувствовал ударов, я весь превратился в боль. Дергайте здоровый зуб! Выдерните все мои зубы, только прекратите это истязание! Казалось, что этот ужас длился вечно, что в моей жизни не было больше ничего, кроме этого надругательства. Я хотел бы потерять сознание, впасть в забытье, чтобы избавиться от этой боли, но не мог. Для этой боли не существовало границ беспамятства. Она уже никогда не прекратится! Лучше бы я сошел с ума!

– Двенадцать! Тринадцать! Четырнадцать! – кричал я, безотчетно подчиняясь команде мозга, который не забывал, что я обязан считать удары.

Мне казалось, что тело уже превратилось в клочья мяса. Видимо, в этой дубинке таилась какая-то магическая сила, направлявшая удары в одно и то же место. Я старался лежать совсем неподвижно, но при каждом ударе дергался. Веревки все сильнее впивались в мои ноги, а безжалостные руки грубо прижимали плечи и голову к столу.

– Девятнадцать!

И тут вдруг боль ослабла. Я достиг предела, казалось, я стал невосприимчив к боли. Я перестал кричать. Это был знаменательный момент в моей жизни. Им не удалось сломить меня! Я оказался сильнее! Бей, мерзавец! Если даже я умру после этой экзекуции, то все равно победителем останусь я. Но теперь я буду жить. Я выдержал девятнадцать ударов – остальные меня не пугают.

Мне не хотелось, чтобы Дурак подумал, будто я потерял сознание, и я отчетливо продолжал считать удары: – Двадцать! Двадцать один! Двадцать два!

Экзекуция закончилась. Дурак откашлялся и сплюнул. Мне развязали ноги, освободили руки. «Смотрите на меня все, – подумал я. – Сейчас я сам дойду до бокса! Гордо прошагаю у всех на виду».

Я поднялся, и жгучая боль снова пронзила меня с головы до ног. Я упал на колени и выругался от бессилия. Товарищи подхватили меня под руки и повели в бокс. Русского унесли в четвертый бокс.

– Погодите, – сказал я.

– Что случилось? – спросил Друг с тревогой.

– Хочу знать, что с русским, – прошептал я. – Отведи меня в четвертый бокс.

– Но ты же не дойдешь, – сказал Друг.

– Я попробую, – настаивал я.

Он повел меня. Каждый шаг стоил мне ужасных мук, но я упорно двигался к четвертому боксу. Русский лежал на животе, окруженный товарищами. Один из них похлопал меня по плечу и сказал что-то ободряющее.

– Как дела, товарищ? – спросил я лежавшего.

Тот обернулся и ответил:

– Теперь уже не сошьешь тапочек.

Я посмотрел на его одеяло. От него остался маленький кусочек, который даже не прикрывал спины. Я засмеялся. Засмеялся Друг, засмеялись и русские.

Дурак зарычал, но не подошел к нам. У меня подламывались колени, когда я с помощью товарищей плелся в свой бокс. Там мне освободили целые нары и уложили на живот.

На следующий день вечером после раздачи хлеба к нам пришел русский. Его поддерживали два товарища.

– Возьми, – сказал он и протянул мне половину своей порции хлеба.

– Не надо, – прошептал я.

– Нет уж, бери, – настаивали русский и его товарищи.

Я взял хлеб.

Так в трудные моменты поступали люди в Дахау.

– Тебе и русскому повезло, – сказал мне Друг через два дня.- Особенно ему. Если бы вы находились не в тифозном блоке, то вас наказывали бы эсэсовцы. Русского они сразу обвинили бы в саботаже, а саботаж карается в Дахау смертной казнью.

– Саботаж? – удивился я. – Смертная казнь? За какой-то кусок старого одеяла?

– В саботаже они обвиняют заключенных и за более мелкие провинности. Сломал иголку в пошивочной мастерской – саботаж. Полетел предохранитель – саботаж. Я знаю случай, когда один бедняга упал в канал, где эсэсовцы обычно ловили рыбу. Парня обвинили в саботаже, так как он якобы «отравил» рыбу в канале. Наказание может зависеть и от настроения начальства, которому просто не понравилось чье-то лицо. Иногда дело ограничивается каким-нибудь издевательством, иногда кончается убийством.

– Я ничего не знаю о лагере, я не был нигде, кроме блоков, где находился до того проклятого поезда.

– В Дахау уничтожены тысячи людей. Одних казнили по приговору, с другими расправились без суда и следствия.

Больше всего в Дахау погибло русских. Осенью 1941 года на полигоне, где тренировались эсэсовцы, они расстреляли семь тысяч русских военнопленных. (Я побывал там в 1963 и в 1969 годах. Полигон зарос бурьяном. В 1969 году там стояли табором цыгане. Видимо, в Западной Германии не очень чтут память антифашистов.) Полигон состоял из двух длинных траншей, прорытых в холме. Траншеи с высокими брустверами заканчивались открытым бетонированным бункером. Русских гнали по одной из этих траншей к бункеру, приказав выходить через вторую траншею. Там их встречали эсэсовцы с пулеметами.

Иногда этим акциям придавался какой-то вид законности, но чаще людей уничтожали без всякой причины. Так случилось с группой поляков, прибывших в Дахау. Эсэсовцы обнаружили в этой группе четырех женщин, которые переоделись в мужскую одежду, чтобы остаться с мужьями. Женщин немедленно расстреляли.

Часто заключенных вешали во дворе бункера. Там же орудовали и карательные отряды.

Виселица, устроенная прямо на дереве, имелась и возле крематория. Дерево это стоит до сих пор. Случалось, у крематория заключенных убивали выстрелом в затылок. Этим же способом уничтожали людей и около специально прорытой канавки для стока крови. Жертвам приказывали встать на колени на краю канавки и наклонить голову. В здании крематория имелось особое помещение, где производился расстрел,- помещение с покатым полом и специальными решетками, на которые заключенные, стоя на коленях, должны были класть головы перед расстрелом. Эсэсовцы во всем любили порядок.

В здании крематория была также газовая камера, но она не действовала. Ее строили заключенные, которые от товарищей, прибывших из Освенцима, узнали о назначении этой камеры и

начали саботировать строительство. Всякий раз, когда газовая камера была почти готова, обнаруживались какие-нибудь неполадки. Для уничтожения в газовой камере заключенных направляли в замок Хартгейм – под Линцем в Австрии. В этом замке проходили подготовку эсэсовцы, которых затем направляли на работу в лагерях. Там проверяли, подходят ли они для такой «службы». Им приказывали смотреть, как умирает человек в газовой камере, и в это время незаметно фотографировали их. По выражению лица определяли, готов ли эсэсовец к выполнению предстоящей задачи. В программу подготовки входило также убийство человека.

В лазарете Дахау тоже уничтожали людей. Одни умирали во время медицинских экспериментов, другим впрыскивали яд. Уколы эти эсэсовцы делали с присущим им цинизмом. Они говорили жертве, будто этот укол улучшит сон или избавит от болезни.

В лагере убивали по приказу и без приказа. Эсэсовцы, чувствуя себя безнаказанными, окончательно распоясались и превратились в профессиональных убийц. Они тащили к себе все, что попадало под руку, торговали золотыми коронками и драгоценностями.

Большинство убийств совершалось втайне. Но часто организовывались публичные казни под музыку лагерного оркестра, которому было приказано играть бравурный марш или меланхолический вальс.

В блоке № 29 снова установился старый порядок. Ежедневная поверка, раздача кофе и супа на улице, прогулки до и после обеда, санитарный осмотр, как в свое время в блоках № 19 и № 17.

Однажды вечером староста блока громко объявил, что все бельгийцы, у которых в течение трех дней подряд не было обнаружено вшей, должны явиться к нему. Таких нашлось немного: человека четыре.

Когда мы пришли к нему, он сказал:

– Вы заслуживаете награды. Ждите, когда вас позовут.

Он раздал нам синие картонки, на которых было напечатано: «Лагерная полиция».

Мы вышли на улицу, недоуменно глядя то на картонки, то друг на друга.

– Черт побери, нас зачислили в лагерную полицию.

Я ничего не понял и отправился за советом к Другу.

На сей раз он тоже был в недоумении.

– В лагерной полиции нужны крепкие парни. Лагерный полицейский обычно старается сделать все, чтобы удержаться на

этом тепленьком местечке. Полицай любит пользоваться своей властью.

– Это не по мне,- сказал я.

– У них отличная жизнь. Теплая одежда, носки, пальто. Отличная кровать.

– Меня это не соблазняет. Не хочу, чтобы меня ненавидели,- признался я.

– Не горячись. Возможно, так решил подпольный лагерный комитет. Он старается выдвинуть на эти посты побольше политических заключенных. Лучше иметь в лагерной полиции людей надежных, чем уголовников.

– А как лагерный комитет мог узнать о нас?

– Понятия не имею. Может быть кто-то прочел ваши карточки? Подождем немного.

Вскоре нас собрали всех вместе и вывели из блока. Я попрощался с Другом. Мы шли по лагерной аллее, и по пути к нам присоединялись группы людей от каждого блока. Теперь было уже совершенно непонятно, куда нас ведут. Неужели немцам вдруг потребовалось так много полицейских в лагере?

– Они передают лагерь в наше распоряжение,- прошептал кто-то с надеждой.- Наверное, американцы близко и эсэсовцы собрались драпать. Нам поручат отвечать за порядок в лагере.

Но все эти домыслы скоро рассеялись. На лагерном плацу стояли стулья, был установлен кинопроектор и повешен большой экран. Мы должны были в качестве входных билетов предъявить наши картонки.

Мы дрожали от холода. Сеанс состоял из двух частей. Сначала показали старый киножурнал. Гитлер бахвалился, что возьмет Сталинград. Гиммлер в детском доме гладил малышей по головкам. Отряды гитлерюгенда горланили песни. Потом мы увидели множество сбитых и потопленных кораблей.

После журнала нам показали художественный полнометражный фильм с Марикой Рокк в главной роли.

В свой блок мы вернулись поздно вечером, продрогшие до костей.

Через несколько дней меня снова послали на представление. На этот раз я должен был присутствовать на публичной казни.

Осужденными оказались три голландца. Их приговорили к смерти через повешение. Местом экзекуции выбрали баню. Голландцев обвиняли в чтении листовок, сброшенных с английского или американского самолета.

Это случилось в конце февраля – начале марта 1945 года. Листовки тысячами сбрасывали с самолетов и они часто попадали на территорию лагеря.

Сначала мы не поняли, для чего нас привели к бане. Думали, что будут мыть перед отправкой из лагеря. Но, едва войдя в баню, мы все поняли. В углу выстроился лагерный оркестр, а у противоположной стены стояли трое раздетых донага мужчин с веревками на шее. Лица у них были испуганные и покорные. Они не молили о пощаде, не говорили друг с другом – только двое из них крепко держались за руки.

Казнью руководил помощник коменданта лагеря. Здесь же был и врач-эсэсовец в белом халате. Около сорока охранников-эсэсовцев выстроили зрителей полукругом, прямо напротив осужденных. Лица у зрителей были такими же бледными, как и у смертников. Я почувствовал острую боль где-то в желудке, перехватило горло, губы пересохли. Меня бросило в жар. Я попытался было закрыть глаза, но тогда начала кружиться голова. Смотреть на такую смерть оказалось гораздо тяжелее, чем на смерть от изнеможения, от голода или болезни. Ведь эти люди могли бы дожить до победы.

Я боялся поднять глаза, хотя отчетливо сознавал, что эта картина мне все равно запомнится во всех подробностях и на всю жизнь. Она постоянно будет повторяться в моих снах и никогда не даст угаснуть моей ненависти. Наверное, хорошо, что я видел это, что это видели многие другие. Наши глаза запечатлели эту казнь, как на кинопленке, и в будущем мы – очевидцы – сможем рассказать обо всем виденном тем, кто не знал или не хотел знать, что такое нацизм и концентрационные лагеря.

Помощник коменданта лагеря с двумя эсэсовцами вышел на середину и объявил:

– Преступники знакомились с лживой вражеской пропагандой, обсуждали ее между собой. Их целью было распространять ложь в лагере. Это преступление карается смертной казнью. В интересах безопасности народа и государства, в интересах сохранения порядка в лагере они приговариваются к смерти через повешение. Приговор будет приведен в исполнение немедленно.

Несколько эсэсовцев ворвались в толпу заключенных, схватили девять человек и подтащили их к месту казни. Им приказали встать по трое позади приговоренных к смерти – у самых веревок.

Две команды прозвучали почти одновременно:

– Затянуть петлю!

– Музыку!

Глаза мои застилали слезы, но я видел в те минуты острее, чем когда-либо. Я смотрел с напряжением, отчаянием и ненавистью. И вокруг меня царило напряжение, отчаяние и

ненависть. Казалось, мы все разом перестали дышать. Не слышалось обычного шарканья ног, покашливания. Мертвая тишина и музыка. На ненавистных физиономиях эсэсовцев мы читали удовольствие и чувство превосходства, иронию и сарказм.

Мое внимание было приковано к девяти несчастным, которым предстояло затянуть петли.

Они, казалось, еще не поняли, чего от них требуют.

– Затягивайте поскорей петли, проклятые крематорские собаки! Не то мы вздернем вас самих.

И люди, которым навязали роль палачей, потянули за веревки. Их лица казались трагическими масками. Веревки натянулись, врезались в подбородки осужденных, но петли не затягивались. Они начали затягиваться лишь тогда, когда те, кто держал веревки, приподнялись на цыпочки, когда их ноги почти оторвались от пола. Одна тройка не выдержала напряжения и отпустила веревку. Осужденный упал на колени, закашлялся, сунул пальцы под веревку. Подскочили эсэсовцы с плетьми и набросились на троих заключенных, те снова схватились за веревку и подняли повешенного вверх.

Ужасное зрелище! Музыка. Шутки эсэсовцев. Три неузнаваемо изменившихся лица.

Заключенные, затянувшие петли, все еще не выпускали веревок из рук. Они были злы и на то, что казнь затянулась, и на эсэсовцев, которые выбрали именно их, и на осужденных, которые не хотели умирать. Они чувствовали себя несчастными, так как знали, что с этого момента станут отверженными в лагере. Они знали, что и сами до конца своих дней не избавятся от чувства вины.

Трудно сказать, сколько времени длилась агония. Наверное, минут двадцать. Но каждая секунда была веком страдания.

Я чувствовал кровь на закушенной губе.

Я чувствовал ненависть в сердце.

Ненависть!

Разве одно из ужаснейших преступлений нацизма не состоит в том, что он пробудил в цивилизованных людях это страшное чувство неутолимой ненависти?

– Постарайся не болтать об этом,- посоветовал мне Друг вечером.

Меня бил озноб. Голова разламывалась, болело горло, стучало в висках. Я никак не мог успокоиться.

– Вам показали казнь не для того, чтобы вы о ней рассказывали. Кто знает, что у них на уме… Лучше забыть об этом.

– Забыть? – возмутился я.

– Я знаю, такое забыть невозможно,- сказал он.- Каждый из нас насмотрелся здесь ужасов, и каждого до конца жизни будут терзать ночные кошмары. Знаешь, как убивают в Заксенхаузене?

– Не надо, прошу тебя,- взмолился я. У меня в руке был хлеб, я очень хотел есть, но не мог проглотить ни крошки.

– Но ведь это правда, – продолжал он. – Зачем же закрывать глаза на правду? Если мы не хотим знать правду, то как мы потом сможем требовать от других, чтобы они слушали нас? Правда есть правда, а зло есть зло, и замалчивание зла еще никогда не приводило к добру. В Заксенхаузене убивают экономно. Экономят и время и средства. Там построен специальный комбинат смерти под названием «Станция Зет»: морг, газовая камера, установка для расстрела. Но если у эсэсовцев есть время, то они для устрашения других ведут свою жертву на виселицу. Одна виселица установлена на плацу, еще четыре у рва, где эсэсовцы тренируются в стрельбе. С помощью блока они вешают сразу четырех человек. Эсэсовцы придумали нечто пострашнее той казни, которую видел ты. Под четырьмя веревками они установили колодки для ног. Ноги осужденных зажимают в эти колодки, а затем затягивают петлю – одновременно душат и раздирают на части. И там, в Заксенхаузене, не делают из этого секрета. Двадцать пять палочных ударов заключенным обычно отпускают возле виселиц – чтобы знали, какое наказание их ждет в следующий раз. А теперь ешь свой хлеб.

– Иди к черту! – пробурчал я.

– Ешь хлеб! – прикрикнул он на меня.

Я съел хлеб. Глотал, превозмогая спазмы и боль, как при ангине. Неужели я никогда не избавлюсь от этого горячего куска металла в груди?

– У тебя сыпной тиф, Людо,- сказал Друг.- Но пока не ходи к врачу блока. Симптомы еще не очень заметны. Дня через два сыпь будет явственно отличаться от укусов и расчесов, и температура у тебя поднимется градусов до сорока.

Мне стало страшно. Я подумал о том, что такой смертью мне бы не хотелось умереть.

– Ты говоришь о сыпном тифе так, словно это пустяковая простуда,- сказал я с упреком.

– Нельзя думать о тифе,- внушал он мне.- Мысли о тифе невольно связаны с мыслью о смерти. Ты не умрешь, если будешь бороться. Поверь мне, ты выживешь, если ты этого хочешь. Тифозная лихорадка – дело нешуточное. У большинства больных начинается бред, но ты не должен допускать этого. Начнешь бредить – и тогда конец, ты перестанешь есть и через пару дней умрешь. Надо бороться. Надо есть, хотя любая еда покажется тебе

помоями.

Друг не отходил от меня. Я чувствовал, как слабею с каждым днем, но он заставлял меня съедать суп и хлеб, следил, чтобы я не впадал в забытье.

На четвертый или пятый день он послал меня к врачу.

Я попрощался с Другом. С той поры я его больше никогда не видел. Я не знаю его фамилии и не знаю, жив ли он, но я никогда не забуду этого человека – голландского врача, который спас мне жизнь.

Врач блока не церемонился с больными. Он даже не подходил к ним близко. Мы стояли раздетые в очереди, держа одежду в руках, – худые как скелеты, с торчавшими ребрами, с нечистой кожей, в укусах и расчесах, в кровоподтеках и язвах. Врач бегло осматривал нас и кивком головы указывал, куда идти. Меня он отослал в группу, направляемую в лазарет.

После традиционного ожидания нас повели к блоку № 7. С того момента, как вспыхнула эпидемия тифа, лазарет постоянно расширялся – до самого последнего дня существования лагеря. Мы брели как в тумане. Над лагерем висел смрад/Смрад от крематория, от трупов, болезней и голода, от грязи и страдания. Мы едва передвигали ноги по мерзлой лагерной улице, и один из эсэсовцев со смехом крикнул сопровождавшему нас врачу: «Веди лучше этих крематорских собак прямо к печам!»

У лазарета нам снова пришлось ждать, остановившись между пятым и седьмым блоками. Там лежали десятки трупов, аккуратно сложенных в штабеля, как дрова.

Никто не обращал на нас внимания. У нас не было охраны, но никому и в голову не приходило бежать. Наконец на улицу вынесли трупы, и нас загнали в помещение, где нечем было дышать. На трехэтажных нарах без тюфяков и одеял лежали больные. Они находились в самом жалком состоянии. Многие бредили.

Никто не помогал нам. Мы сами должны были забраться на нары, с которых только что сняли мертвецов. Несмотря на ужасную слабость, я заставил себя влезть на самый верх, полагая, что там не так грязно. Однако доски, как и внизу, были в крови и нечистотах. С трудом мне удалось перевернуть их и улечься на спину. Наверное, впервые в Дахау я лежал на спине – здесь, в лазарете, у каждого больного были свои нары. Но вскоре у меня начался озноб. Я не мог унять дрожь и в то же время чувствовал, что весь горю. Сознание мутилось, и я старался сконцентрировать свое внимание на том, что происходит вокруг. Кто-то неестественно громко пел. Кто-то беспрерывно ругался. Сосед внизу был без сознания и страшно хрипел. К нему подошел врач

со шприцем и сделал укол в локтевой сгиб. Хрип вскоре прекратился. Больной перестал дрожать. Его глаза вдруг открылись и остекленели. Умер.

Врач со шприцем приближался ко мне. Я надеялся, что он пройдет мимо. Но он остановился около меня. Я покрылся холодным потом от страха, бессилия и отчаяния. Он схватил мою руку, нащупал вену. Я хотел вырваться, но меня словно парализовало.

Врач ушел, и я стал отсчитывать секунды, прикидывая, через какое время после укола умер сосед внизу. Дважды я сосчитал до шестидесяти, но состояние мое оставалось прежним. Лихорадка продолжалась. Мне казалось, что я еду в поезде. Ритмичный перестук колес, гудок паровоза. Я смотрю в окно на зеленые леса, на заснеженные поля зимнего Кемпена. Тянутся вверх провода… Только не поддаваться галлюцинациям! Не терять сознания! Сопротивляться до конца!

– Проклятие! – крикнул кто-то совсем рядом по-фламандски.

Я оглянулся. С пола поднимался больной с окровавленным лицом. Он спрыгнул с верхних нар и расшибся. Его лихорадочные глаза растерянно блестели.

– Что с тобой? – спросил я.

– Приснился сон. Мне все время снится, что я еду в поезде мимо своего дома. Вот я и спрыгнул на ходу,- смущенно сказал он и, тяжело дыша, полез на нары.

Через минуту он уже погрузился в забытье. А в моей голове уже снова раздавался стук колес… Я заставил себя преодолеть отвращение к пище. Помня советы Друга, с трудом проглотил днем суп и вечером свою порцию хлеба.

Страшна ночь в тифозной палате! В сером мраке все дышит непередаваемым ужасом. Бледные лица, грязные тела. Люди, потерявшие сознание. Тихие больные, которые, возможно, уже успокоились навечно, и буйные, которые бьются головой о доски нар. Бессвязная речь… Бред на польском, русском, французском языках… Песни… Я гоню сон, я боюсь потерять сознание. «Меня не сломить»,- думаю я и посылаю проклятия своим врагам.

К утру в палате стало тише.

Многие умолкли навсегда.

Семь дней я пролежал в лазарете. За это время мне ни разу не дали никакого лекарства.

Я вышел из лазарета живым совершенно случайно. Место умершего соседа занял новый больной, похожий на еврея. Он тяжело, прерывисто дышал, у него, как и у всех остальных, была лихорадка. Он положил под голову какой-то серый сверток, перевязанный бечевкой.

– Понимаешь по-немецки? – спросил он меня.

– Да.

– Кто ты?

– Бельгиец.

– Из Антверпена?

– Из провинции Антверпен. Из Мола в Кемпене.

– Там, где карьеры белого песка? Я знаю эти места, бывал там до войны. Красивый город Антверпен.

– Что у тебя в свертке? – поинтересовался я.

– Еда,- ответил он.- Я был женат на немке, но она отреклась от меня, оформила развод и упекла в Дахау. Но у нас, кажется, есть шанс выйти отсюда. Те, кого отправили в Польщу, уже все уничтожены.

– Большой сверток.

– На это она не скупится. Ежемесячно тайком передает продукты. Только до сих пор я их не получал. Это первая посылка, да и то я не могу ею воспользоваться из-за болезни.

– А куда же девались остальные посылки?

– Их отбирали эсэсовцы.

– А что в этой посылке? – не отставал я.

– Ты бывал раньше в лазарете? – сменил он тему разговора.

– Один раз, на осмотре.

– В этом блоке не страшно. Многие, конечно, умирают. Иногда здесь делают усыпляющие уколы. Но зато в других блоках проводят эксперименты, а это пострашнее. Смерть приходит не сразу, а после долгих страданий. Один врач, кажется Клаус Шулер, решил, что нашел средство от малярии, и задумал испытать это лекарство на больных. Но, к сожалению, в Дахау никто не болел малярией. Тогда он специально заразил отобранных для опытов заключенных, и больные появились. Этот оказался типичным врачом-эсэсовцем. Все его больные погибли, но не от малярии, а от «других болезней», как отмечено в актах.

– Я уже слышал об этом.

– А другой врач захотел испытать новое лекарство от флегмоны, – начал было он и закашлялся.

– Не разговаривай,- посоветовал я ему.- Тебе нельзя утомляться. Я уже слышал об этих опытах.

– Мне очень плохо. Это сыпной тиф. Я был в Эстервегене, в Нойенгамме и недолго в Бухенвальде. Первый раз я попал сюда в тридцать восьмом году. Потом меня перегоняли из одного лагеря в другой. Я и раньше попадал в эпидемии тифа, но не заболевал.

Он снова начал кашлять. Было заметно, что с каждой минутой силы покидают его.

– Молчи!

– Я боюсь потерять сознание. Нужно обязательно разговаривать, чтобы не поддаться болезни. Так вот, в Дахау сейчас много заключенных с флегмоной. Врач брал здоровых людей, специально заражал их и…

Он вдруг впал в беспамятство, но продолжал что-то невнятно бормотать.

Когда принесли суп, я съел свою порцию и попытался влить немного супа в рот соседу. Но он закашлялся, и я испугался, как бы он не захлебнулся. Тогда я сам выпил его суп, хотя и с чувством какой-то вины. Успокоился я только тогда, когда собрали котелки – мой сосед все еще был без сознания.

Вечером я съел свой хлеб, а его порцию спрятал. Когда он пришел в себя, я отдал ему хлеб.

– Неужели ты не съел его? – удивился он, так как прекрасно понимал, каких усилий мне стоило не притронуться к хлебу.

Он вернул мне хлеб.

– Бери. Я не могу проглотить ни крошки. Он схватил меня за руку. У меня тоже был жар, но его рука казалась огненной.

– Помоги мне! – сказал он.

– Чем же я могу помочь? – спросил я.

– Я верю тебе – раз ты оставил для меня хлеб. Сбереги этот сверток.

Я колебался. Слишком большая ответственность.

Он уговорил меня взять сверток, пообещав разделить посылку пополам, как только немного поправится.

Ночью я не сомкнул глаз. Все время думал о том, что находится в свертке. Я испытывал муки голода. Тому, кто не был в концлагере, так же трудно объяснить, что такое голод, как трудно описать цвет слепому. Голод испытываешь не тогда, когда не ешь два-три дня. Голод приходит в результате постоянного недоедания в течение бесконечных недель, месяцев. Вши, грязь, страх, унижение – вот что такое голод. Чувство самозащиты тоже входит в понятие «голод». Необходимость самозащиты, желание казаться сильнее, чем это было на самом деле, увеличивали напряжение, обостряя голод. Голод отзывался и физической болью. Постоянная головная боль, спазмы в пустом желудке, резкая боль под ложечкой, сухость во рту, невероятная слабость – все это голод.

С каждой минутой у меня росло желание развернуть посылку. Только взглянуть, что там, только понюхать! До войны я был очень разборчив в еде, теперь буду есть все подряд и никогда не стану жаловаться на голод, никогда не признаюсь, что мне холодно, никогда не скажу, что еда невкусная. Я не стану мечтать о деликатесах: о масле, колбасе, мармеладе, о мясе и сыре –

достаточно будет картошки и хлеба, вдоволь хорошего черного хлеба. Я не буду его резать, я буду откусывать прямо от ковриги – ведь только так можно почувствовать настоящий вкус хлеба.

Я смотрел на соседа, прислушивался к его прерывистому дыханию, к словам, которые он шептал в бреду. Несколько раз он произнес имя: «Анна». Жена? Посмотрела бы она на него сейчас! Если бы немецкие жены посмотрели на нас всех хоть секунду, может быть, война кончилась бы быстрее.

Сосед вдруг затих. Жив ли он? Если умер, то посылка достанется мне одному. Прочь эту мысль! Он должен жить, ведь он мой товарищ и он доверился мне. Я докажу, что не желаю ему смерти, – я буду молиться за него. Но я не знаю молитв. В Дахау было много священников, которые тайно служили мессу. Но я не мог молиться, так как перестал верить в бога. Бог остался за воротами лагеря. Он отказался следовать за несчастными, которые больше всего нуждались в его помощи. «Бог на небе, на земле и повсюду», – внушали нам. Но бога не было в Дахау! А значит, его не было вообще.

Сосед захрипел и перестал дышать. Я дотронулся до него. Кожа была теплая, липкая. Потом я снова услышал его дыхание, но оно становилось все реже, все слабее, словно невидимая рука медленно сдавливала его горло.

Под утро сосед умер.

Как только я немного окреп, меня согнали с койки и вышвырнули из лазарета без всякого осмотра. Видимо, если человек не умирал после определенного срока пребывания в лазарете, его считали здоровым.

После лазарета меня направили в блок № 12.

В тифозных блоках много рассказывали о так называемых свободных блоках на противоположной стороне лагерной улицы. Говорили, что там у каждого заключенного свои нары, что за работу в командах выдают дополнительный паек. Там якобы нет ни вшей, ни блох и заключенным разрешается свободно ходить по лагерю.

И снова я подумал, что теперь-то уж самое страшное позади.

В тифозных блоках люди выдерживали не больше трех месяцев. В свободных блоках можно было встретить заключенных, которые находились в Дахау с 1933 года. Видимо, условия там были лучше, чем в тифозных блоках.

Но шел 1945 год, и теперь в свободных блоках стало ничуть не лучше, чем в тифозных. На сдвоенных нарах спали по пять-семь человек, в боксах кишели вши и блохи, порция хлеба составляла примерно 165 граммов, и никакого дополнительного пайка за работу не полагалось.

Из лазарета меня отправили сначала в баню. Я шел в сопровождении старосты из двенадцатого блока. Я почувствовал себя человеком, когда получил полосатую одежду политзаключенного и ботинки – взамен грязных лохмотьев.

В блоке № 12 было несколько сербов и словаков, освобожденных в этот день от работы. Я не мог говорить с ними, так как не знал языка, но староста бокса сказал мне, что в блоке есть и французы. Заключенных из блока № 12 каждое утро отправляли в Мюнхен – ликвидировать последствия бомбежек на вокзале. В последние недели Мюнхен сильно бомбили. Староста рассказал мне также о положении на фронте. За время своей болезни я настолько обессилел и отупел, что чуть не забыл о том, что идет война. Дела у нацистов были плохи, но они, судя по всему, не собирались сдаваться. Гитлер приказал сражаться за каждый город, за каждую улицу, за каждый дом.

Русские освободили Освенцим и Гросс-Розен. Они уже заняли Варшаву и грозным валом катятся на Германию. Англичане и американцы форсировали Рейн и продвинулись далеко в глубь Германии.

Я поинтересовался у старосты, где он почерпнул всю эту информацию. Оказалось, из немецких газет, которые заключенным удалось пронести из города.

На следующее утро я впервые вышел на утреннюю поверку вместе с заключенными свободных блоков. Было еще совсем темно, дул холодный пронизывающий ветер, но мы шагали в ногу под резким ослепляющим светом прожекторов. Несколько тысяч заключенных в полосатой одежде, идущие строем, производили впечатление большой силы и сплоченности.

После поверки рабочие команды начали уходить из лагеря. Мы вышли через главные ворота под крики капо и эсэсовцев и свирепый лай собак. Трудно было поверить, что война подходит к концу. Эсэсовцы лютовали больше, чем прежде. Я довольно скоро выбился из сил. Впервые за время пребывания в Дахау мне пришлось преодолевать пешком такое расстояние, да еще после болезни. Я нарушил строй, и капо с бранью набросился на меня. Я упал, и он в бешенстве стал топтать меня ногами. Подоспел эсэсовец с собакой и приказал мне догонять строй. Не помню, как я бежал. В памяти остался лишь лай собаки, которая неслась следом за мной и хватала меня за ноги.

Нам предстояло пройти около двух с половиной километров до станции Дахау. Там нас загнали в поезд – на этот раз в пассажирские вагоны,- и на рассвете мы прибыли на центральный вокзал Мюнхена. В это серое утро ничто не напоминало о приближающейся весне.

Вокзал был сильно разрушен, и это несколько подняло наше настроение. Но ненадолго. Началась изнурительная работа: нам приказали разбирать поврежденные пути и грузить рельсы и шпалы на платформы, потом толкать эти тяжелые платформы в указанное место и там разгружать их. Затем нам пришлось переносить вчетвером шпалы и рельсы на другой путь, где тоже работала группа заключенных. Эти шпалы и рельсы казались нам невероятно тяжелыми. Тащить их на плечах – это еще куда ни шло, но поднять с земли казалось почти невозможно.

Легче всего было толкать платформы, но зато остановить их стоило огромных усилий.

Ни на секунду не стихал свист кнутов, лай собак и окрики эсэсовцев, которые пинками и ударами подгоняли изможденных узников. Жители Мюнхена видели все это, и теперь они не имеют права говорить, будто они о нас ничего не знали.

К концу дня мы вымотались окончательно. Поезд привез нас на станцию Дахау, откуда наша команда кое-как дотащилась до лагеря.

Вечерняя поверка тянулась часа полтора. Вернувшись в блок, мы получили по 165 граммов хлеба. Через два дня нам выдали только по 125 граммов, а еще через неделю силы мои настолько иссякли, что я упал на работе. Подбежавший эсэсовец заставил меня подняться, и я продолжал двигаться как автомат, пока не потерял сознание.

Когда я пришел в себя, то увидел, что лежу на платформе, прикрытый мешковиной, которую мы обычно подкладывали под рельсы и шпалы, когда несли их на плечах. Я попытался было встать, но кто-то толкнул меня, прошептав несколько слов на чужом языке. Улыбка этого человека говорила, что он не желает мне зла. «Серб или словак»,- подумал я. Совершенно незнакомые люди прятали меня целый день от эсэсовцев. Товарищи работали за меня.

Вечером, когда мы возвращались в лагерь, я опять упал. Товарищи успели подхватить меня до того, как подскочили эсэсовские собаки. Они помогли мне дойти, положив мои руки себе на плечи. У них тоже было мало сил, но они не бросили меня. Такие моменты никогда не забудутся. Так проявлялась настоящая человечность и подлинное братство.

Добравшись до блока, я сразу лег, зажав в руке свою порцию хлеба. Я заставил себя есть, превозмогая боль в груди. Помнится, что еще Друг говорил мне о том, что у меня больное сердце. Неужели конец? Нет, только не думать о смерти. Это самое обычное переутомление. Не может болеть сердце у человека в двадцать два года. «Уже двадцать три» – я вспомнил, что недавно

был день моего рождения. Но боль не проходила. Я чувствовал невероятную слабость. Я готов был терпеть самую страшную боль, если бы это прибавило мне сил. Но сил не было. Тяжелые как свинец руки и ноги, тяжесть в желудке, острая боль в груди, адский шум в голове и жуткая слабость. Что же дальше?

На следующее утро я все же вышел на утреннюю поверку, но в рабочую команду эсэсовцы меня не включили, обнаружив, что я до крови стер ноги. Эсэсовцы отобрали на работу самых сильных, остальных разогнали по блокам. По всему чувствовалось, что дела у немцев неважные. Бомбежки следовали одна за другой. От гула дрожала земля. Непонятно было – то ли это бомбили Мюнхен, то ли союзники вели артиллерийский обстрел.

Эсэсовцы нервничали. Ходили слухи, что они собираются сбросить бомбы на Дахау. Но пока эсэсовцы оставались в лагере, мы могли быть уверенными, что лагерь не будет уничтожен. Говорили, что русские сумели достать оружие и что со дня на день в лагере может начаться вооруженное восстание.

В лагере начался хаос. В уборные перестали подавать воду, трупы больше не убирали. Едкий дым крематория смешивался со смрадом разлагавшихся трупов, нечистот и мусора. Повсюду бродили как во сне скелетообразные призраки. Я тоже стал одним из таких призраков. Притупилась способность мыслить, ослаб инстинкт самозащиты. Однажды вечером я оказался на лагерной аллее и лицом к лицу столкнулся с эсэсовцем. Он ткнул меня пальцем, и я упал. Стыдясь своей слабости, я с трудом поднялся на ноги. Он рассмеялся и толкнул меня снова. На этот раз встать я уже не смог и заплакал от досады. Это привело моего мучителя в бешенство, он с криком набросился на меня, а потом подозвал проходившего мимо заключенного:

– Подойди сюда, идиот!

Тот подошел и четко отрапортовал:

– Заключенный номер одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят два явился по вашему приказанию.

– Доставь немедленно эту крематорскую собаку в тридцатый блок.

– Слушаюсь!

Мужчина схватил меня за плечи и, отчаянно ругаясь, поставил на ноги. Я попытался было сопротивляться и вдруг почувствовал в его действиях что-то странное. Он закинул мою руку себе на плечо и потащил меня, все время поддерживая. Мы остановились между блоками № 18 и № 20.

– Он ушел. Ты из какого блока?

– Из двенадцатого,- ответил я.

– Сейчас я отведу тебя туда. В таком состоянии тебе лучше не

появляться на улице. Ты видишь – эсэсовцы бесятся. Американцы близко.

– Откуда эти слухи?

– Это не слухи, а правда. У эсэсовцев в лагере есть шпионы, но у нас тоже есть свои люди где надо. Американцы уже под Дахау. Отдохнешь немного или отвести тебя?

– А вдруг эсэсовец увидит, что ты ведешь меня обратно?

– Да он, наверное, уже забыл о тебе.

– Я попробую сам дойти до своего блока. Спасибо тебе, товарищ.

– Чепуха. Ты так далеко не уйдешь. Упадешь опять на улице, подберут и доставят в тридцатый блок, а оттуда живыми не выходят. Держись-ка лучше за меня.

И мы пошли. Я прекрасно понимал, что без него до своего блока мне не добраться.

– Ты – поляк? – спросил я, взглянув на нашивку с буквой «П».

– Да. Из Лодзи. Это в ста тридцати километрах от Варшавы.

– Как тебя звать?

– Мариан. Мариан Антковиак.

– А ты хорошо говоришь по-немецки.

– У меня было достаточно времени выучить его – засмеялся он. – Я здесь с весны сорокового года.

Я недоуменно посмотрел на него.

– Ты выглядишь несравненно лучше меня, хоть я здесь только с первого декабря прошлого года.

– Был в тифозном блоке?

– Да.

– Там совершенно иная система,- сказал он.- Заключенные умирают потому, что не выдерживают грязи, голода, беспорядка, вшей, болезней. Я знал другой Дахау. Лагерь высшего порядка… Там привязывали к позорному столбу за небрежно убранную постель, за плохо подметенный пол. Сейчас они уничтожают заключенных и морально и физически. Тогда же у нацистов была одна задача – сломить наш дух, но мы были им нужны как физическая сила – они использовали нас на работе. И у них была цель – победить и превратить все народы в своих рабов.

Он привел меня к двенадцатому блоку, и мы крепко пожали друг другу руки.

– Спасибо, товарищ! Возможно, когда-нибудь увидимся. (И мы действительно увиделись в мае 1963 года на международной встрече узников Дахау. Мы узнали друг друга, обнялись как братья. С тех пор я ежегодно езжу к нему в Лодзь, а он с семьей бывает у меня в гостях.)

26 апреля на лагерном плацу собрали всех русских, немцев и

евреев. Рассказывали, будто их загнали в вагоны на станции Дахау, где они и пробыли до прихода американцев,- в живых остались единицы.

27 апреля приказали явиться на плац всем полякам, чехам, французам и бельгийцам. Многие почувствовали опасность и спрятались в бараках. Однако тысячи людей явились на плац. Потом их куда-то вывезли. В лагере ходили слухи, будто их высадили прямо в поле и расстреляли.

После этого никто уже не выходил на плац.

28 апреля в Дахау прибыл последний транспорт из Бухенвальда. Бухенвальд был освобожден 11 апреля, значит, несчастные находились в пути более двух недель без пищи и воды. Погибло около 2600 человек. Оставшиеся в живых были похожи на мертвецов.

Союзники приближались к лагерю. Мы слышали уже не только грохот орудий, но и отдаленный треск пулеметов. А в минуты затишья рождались самые невероятные слухи. Говорили, что лагерь сожгут дотла. Сообщали даже, что операция эта называлась «Волькенбранд». (В действительности под этим наименованием существовал план отравления заключенных.) Предсказывали, что следующей ночью всех оставшихся в живых заключенных уничтожат. А потом прошел слух, будто русские рядом. Затем сообщили, что немцам с помощью секретного оружия удалось отогнать американцев за Рейн, что немцы перешли в наступление на всех фронтах.

– А что же тогда означает эта стрельба?

– Восстало одно из соединений вермахта, и эсэсовцы пытаются подавить восстание.

Мы не знали, чему верить.

Вечером низко над лагерем пролетали самолеты. И среди заключенных поползли новые слухи, будто бы коменданта лагеря видели с повязкой Красного Креста, а эсэсовцы покинули лагерь. Впоследствии выяснилось, что они действительно ушли, но караульные на сторожевых вышках продолжали нести службу.

Наступила последняя ночь Дахау. Никто не спал до утра. Строили догадки о том, что нас ждет. Утром никто не пришел выгонять нас на поверку. Мы услышали оживленные радостные возгласы и вышли из барака. На сторожевой вышке мы увидели белый флаг и со слезами на глазах бросились обниматься. Откуда-то вдруг появились силы, и мы побежали к колючей проволоке. Но тут с другой стороны – со сторожевой вышки – прозвучал залп, и мы повернули обратно.

Около четырех часов дня послышались пулеметные и автоматные очереди. Огонь вели и со сторожевых вышек. Наконец

пулеметы замолкли. Услышав шум моторов, мы снова выбежали из бараков и бросились к колючей проволоке. Да, это были они, наши освободители. На странных машинах – джипах, как мы узнали позже. Люди сошли с ума от радости: некоторые бросались на колючую проволоку под током и гибли. Нескольким американцам удалось перелезть через проволоку, они показывали нам на убитых эсэсовцев и смеялись. И мы смеялись вместе с ними.

Затем мы все вышли на плац. Там мы увидели женщину, которую приняли за американскую военную корреспондентку. Позднее печать сообщала, что это была француженка, она первой вошла на территорию лагеря. Но это неверно – первым в лагерь вошел военный корреспондент Пауль М. Г. Леви, в настоящее время он профессор Лувенского университета и заместитель председателя административного совета бельгийского мемориала «Форт ван Бреендонк». Но тогда мы видели только эту женщину, окружили ее, каждый стремился пожать ей руку. Нам хотелось обнять наших освободителей, чтобы убедиться в реальности происходящего.

Казалось бы, наступил конец нашим мучениям, но не все еще было кончено. Прошел слух, что эсэсовцы отравили воду и муку, а у американцев не было провианта на весь лагерь. И все-таки вечером нам выдали по килограммовой банке мясных консервов со складов эсэсовского лагеря, предупредив, чтобы мы не ели все сразу. Но голодные узники не слушали советов, и многие поплатились за это жизнью. Впоследствии немцы заявили, что большинство заключенных умерли после освобождения лагеря.

Смертность действительно была высокой. Но причиной явились не только консервы. Мне кажется, что многие погибли в те дни, так как утратили волю к сопротивлению. Ее хватило лишь до дня освобождения.

На бараках появились флаги. Бельгийский, красный флаг русских с серпом и молотом. Бело-желтый флаг католической церкви, польский флаг с гордым орлом. Мы не могли понять, каким образом удалось сделать флаги в лагере, но они висели.

На следующий день я снова почувствовал слабость и полнейшую апатию. Меня ничто не интересовало: ни еда, ни газеты, которые вышли в этот день на разных языках. В них сообщались лагерные новости, информация о положении на фронтах (эти газеты сохранил и передал мне мой товарищ по Дахау Вард ван Лакен). Я не мог читать, не мог есть.

У меня отекла вся голова. Я вспомнил тех, кто умирал от водянки. У них отекали руки, ноги, голова. У меня же только голова. Мне казалось, что она разламывается от страшной боли, я

ослеп и целый час совсем ничего не видел. Смерть была близка, я ее уже чувствовал совсем рядом. Меня окутала как бы пелена серого тумана. Но потом туман начал рассеиваться, и мне стало ужасно холодно: зуб на зуб не попадал. Я видел, как многие ложились на свои нары, чтобы умереть. Я заставил себя выйти на улицу. Там я встретил своего знакомого из Восселара. Он был арестован одновременно со мной, но в тюрьме Сент-Гиллис мы попали в разные группы. Вначале я не узнал его, это он окликнул меня.

Я спросил, не слышал ли он чего-либо о моем отце.

– Он был очень болен. Мы вместе попали в Флоссенбург, а потом в Герсбрюк, в каменоломню.

По его тону я понял, что отец умер, но не хотел верить этому.

– Мой старик выкарабкается из любой болезни.

– Сначала у него была рожа. Он очень страдал. Потом началась дизентерия…

Мне все стало ясно.

– А Жак Петере? – спросил я.

– Нас привезли сюда на прошлой неделе. Он умер сразу.

– Луи Мертенс?

– О нем я ничего не знаю. Наверное, погиб. Мы были вместе в Флоссенбурге.

– Каликст Миссоттен? Йос Варбрюгген?

– Они в тридцатом блоке. Их тоже привезли сюда из Флоссенбурга. А что с Тавернироm?

– Погиб.

– А Жак ван Баел?

– Погиб.

Из нашей группы не осталось почти никого. О моей невесте и тете он ничего не знал. Их отделили от остальных в Кёльнской тюрьме (оказалось, что тетя умерла в лагере смерти Берген-Бельзен, а моя невеста вернулась из Маутхаузена полным инвалидом. Мой второй дядя тоже был арестован и расстрелян немцами. Но обо всем этом я узнал уже дома).

В тот же день я добрался до блока № 30 и разыскал там дядю и Каликста. Встреча была нерадостной. Дядя был невероятно худ, у Каликста началась водянка. Он сидел, прислонившись к стене, и даже не попытался подняться, когда увидел меня. В глазах его уже погасла жизнь.

– Да не сиди ты как чурбан. Я собираюсь в Мол. Поедем вместе,- тормошил я его.

– Я поеду с тобой,- заторопился дядя.

А Каликст молчал. Его уже ничто не интересовало.

В лагере объявили карантин. Никому не разрешалось входить

и выходить из него.

Первого мая русские устроили настоящий праздник. Все заключенные собрались на плацу. Пели «Интернационал», каждый на своем языке. Те, кто не знал слов, просто подхватили мелодию. В тот день «Интернационал» звучал как гимн победы.

Второго мая вышла бельгийская газета на двух языках: «Л'Юнион Бельже» и «Де бельгише еендрахт». Голландцы выпустили свою газету под названием «Де стем дер лаге ланден».

Бельгийский представитель отбирал бельгийцев во всех блоках. Он записывал фамилии, номера групп движения Сопротивления, в которые входили узники, их подпольные клички и причину ареста. Мне помнится, что я сообщал данные о себе шепотом и просил представителя закрывать рукой то, что он записывал.

Каждый мечтал поскорее покинуть лагерь. Смертность росла. Мы слабели с каждым днем. Шли разговоры о репатриации, но я старался не слушать их, силы и так были на исходе. Я уже был не в состоянии навещать дядю и Каликста.

8 мая было получено сообщение, что война кончилась. Оно не произвело на нас большого впечатления: для нас война все еще продолжалась. Для нас она кончится лишь тогда, когда мы выйдем за ворота лагеря.

И все же отъезд оказался неожиданным. Сначала у нас взяли кровь на анализ, чтобы проверить, не больны ли мы тифом. Я дрожал от страха, что анализ окажется положительным.

12 мая уезжала первая группа бельгийцев, среди которых были я, мой дядя и Каликст Миссоттен. Дядя оказался настолько слаб, что в пути его пришлось высадить из поезда и отправить в больницу во Франции. Он вернулся домой через несколько месяцев. Каликста доставили на самолете в Брюссель, где он умер в больнице.

Поездка в товарном вагоне была крайне утомительной. Три дня и две ночи показались мне вечностью. Но встреча в Лёике была незабываемой. Толпы людей на тротуарах. На всех домах флаги. Нас приветствовали торжественнее, чем любую армию победителей. Нас разместили на ночлег в высоком здании. В моей памяти остались только лестницы, много лестниц. Я отказался от ужина и сразу уснул. Я спал в одежде: в новых черных брюках и серой непромокаемой накидке, которые мне выдали перед отъездом из Дахау. Проснувшись утром, я обнаружил, что остался один в комнате – все уже ушли.

Я вышел и с опаской стал спускаться с лестницы. От слабости кружилась голова. На улице было оживленное движение, и я в нерешительности остановился на тротуаре. Ко мне подошел

невысокий мужчина лет тридцати в рабочей одежде и крепко взял меня за руку.

– Пойдем со мной.

– Куда?

– Ко мне домой. Для меня большая честь принять политического заключенного. Жена хорошо угостит тебя.

– Мне не хочется есть. Я ничего не ем уже несколько дней.

– Она приготовит то, что ты захочешь.

– Жареный картофель и бифштекс? – с недоверием спросил я.

– Конечно, – ответил он.

Я пошел с ним. По дороге он объяснял всем, что его гость – политический заключенный. Хозяйка дома и в самом деле приготовила жареный картофель и бифштекс, и, к своему удивлению, я набросился на еду как волк. Пришли соседи, не из любопытства, а чтобы выразить мне свои дружеские чувства.

– В этом районе живут в основном коммунисты. Мы бедные люди, но сделаем для тебя все, что сможем.

Они собрали для меня семьсот франков и продукты: около килограмма сыра, кусок сала, хлеб, яйца. Я взял подарки, чувствуя себя совершенно счастливым. Только сейчас я по-настоящему понял, что вернулся домой.

Вечером мы ходили в кино. Сначала меня не хотели пропускать, так как мой вид не внушал контролерам доверия. Но Друг сказал:

– Как хотите, но сейчас я приведу сюда мужчин с нашей улицы, и мы выгоним всех зрителей из зала и будем крутить картину только для этого парня.

После этого меня пропустили без билета. Меня уложили спать на кровати в спальне. Проворочавшись полчаса с боку на бок, я начал задыхаться от кашля, мне было душно. Тогда я улегся на полу и сразу уснул.

На следующий день мои гостеприимные хозяева стали расспрашивать, как я жил в лагере и откуда я родом. Рассказывать о лагере у меня не было желания, а возвращаться домой с известием о смерти отца я боялся. Тогда я еще не знал, что фамилии узников Дахау, прибывших в Лёйк, в тот же день были переданы по радио, и мои родные уже приезжали за мной на такси, но, к их глубокому огорчению, им не удалось найти меня в городе.

После обеда супруги проводили меня на вокзал, помогли сесть в вагон и не уходили до тех пор, пока поезд не тронулся. Я доехал до Хасселта. Там мне тоже помогли выйти из вагона, усадили на скамейку и позвонили в Мол.

Через час я встретился с мамой и со своим будущим тестем.

– Ты неплохо выглядишь,- сказала мама. Ее обмануло мое отекшее лицо и новенькая накидка. Я почувствовал, как она сразу сникла, когда обняла меня. Отец Мариетты молчал.

– Как Мариетта? – спросил я.

– Едва не погибла.

– Где она?

– В Швейцарии. Она еще не в состоянии ехать домой. Наверное, она уже никогда не сможет ходить.

Но я уже не беспокоился – раз она жива и не в лагере, значит, все в порядке. И если она никогда не сможет ходить, то это не так важно. После ада лагерей любая жизнь покажется раем.

– Папа умер,- сказал я наконец.

Итак, я дома. Когда я встал на весы, во мне оказалось 35 килограммов. – Надо вызвать врача,- сказала мама.

– Не надо. У меня же ничего не болит. Завтра пойду на рыбалку, – успокоил я ее.

Но врач все-таки пришел, и меня немедленно уложили в постель. Врач сказал, что я опасно болен. У меня оказался двусторонний плеврит. А кроме того, воспаление сердечной мышцы, синусит и тахикардия. Я был обречен почти на год постельного режима.

А в это время газеты уже начали писать, что нельзя слишком строго судить военных преступников за их «заблуждения».

Эпилог

Прошли десятилетия.

Одна голландская газета обозвала меня вурдалаком за то, что я написал книгу об истории нацистских концлагерей. Меня обвинили в любви к покойникам.

Да, я любил многих погибших. Среди них мой отец. Я разыскал место, где он погиб, - лагерь смерти Флоссенбург, каменоломня Герсбрюк. Никто из окрестных жителей не мог сказать мне, где находится памятник. Через насколько часов поисков я увидел его на горе. Туда вела еле заметная тропа. Я решил повторить путь, которым шел мой отец с камнем на плече, подгоняемый плетьми, пинками и бранью. Не так-то просто было мне преодолеть этот путь после перенесенного инфаркта. Но я все-таки поднялся к памятнику, заросшему травой.

Каликст Миссоттен. Его довезли до Брюсселя. Ежедневно мне, прикованному к постели, говорили, что он поправляется. Но он был уже мертв. Я и не подозревал, что написал для него некролог, когда Фернанд Геверс попросил меня помочь ему составить текст речи на похоронах друга – участника движения Сопротивления. Только через несколько месяцев, когда стало известно о гибели дяди, мама решилась сообщить мне о смерти Каликста. Его отец стал регулярно навещать меня. Он со слезами рассказывал мне о своем единственном сыне. И я никогда не забуду его слова: «Лучше умереть, чем стать предателем родины».

Моя тетя погибла в Берген-Бельзене. Ее не отравили газом и не расстреляли. Она умерла обычной смертью заключенных – от голода.

Моя невеста попала под бомбежку на станции Амштеттен во время работы в команде узников Маутхаузена. Перебито плечо. Сломано четыре ребра. Семь переломов бедра. Ее нашел на другой день военнопленный-француз, убиравший трупы. Она держалась за руку своей мертвой подруги и, когда он пошевелил ее, застонала. На крестьянской повозке ее снова привезли в Маутхаузен. Там она несколько недель пролежала на соломе без всякой медицинской помощи. Солома вросла в тело. После освобождения лагеря ее отправили в Швейцарию, где она находилась до сентября, а затем в течение года лечилась в клинике в Нерейселе.

Мой дядя Йос с конца войны живет в инвалидном доме.

Погиб несгибаемый Луи Мертенс. И Жак Петере. И мой командир Густ Ваутерс. И кроткий Камиль ван Бален, успевший написать за свою недолгую жизнь две великолепные книги.

Вот какой ценой мы оплатили победу.

Но и по сей день мы расплачиваемся за нее. Когда я работал над этой книгой, мой голландский друг Герт Пит сказал: «Мы приговорены пожизненно». И это правда. Нам никогда не забыть ужасов войны. Мы обязаны помнить и предупреждать других, чтобы эти ужасы никогда не повторились.

Вот почему я пишу эти книги. Писать легче, чем рассказывать.

Иногда мы боимся заглядывать в зеркало, так как чувствуем себя не вполне нормальными. Для обозначения нашего состояния даже изобрели особое понятие – «синдром концлагеря». Я, например, боюсь оставаться один в закрытом помещении. Всегда стараюсь сидеть лицом к открытой двери. Не могу долго находиться в кинозале. Не выношу работы, связанной с заполнением различных формуляров.

Иногда мы чувствуем страшное одиночество. В тюрьмах и лагерях мы научились скрывать свои переживания, не говорить о себе, постоянно быть начеку, так как малейший промах стоил жизни. И все же нас объединяли товарищество и солидарность. Единство бывших политзаключенных живет и по сей день. Когда мы собираемся вместе, то чувствуем себя дружной семьей единомышленников независимо от национальности.

Но в своих страданиях мы одиноки. За шуткой и бодрым видом скрываем свои болезни, незаметно для других глотаем таблетки, успокаивая расшатанные нервы. Мы стараемся не бросаться в глаза. Мы хотим казаться сильнее, чем есть на самом деле. Заболевая, не торопимся к врачу, так как все еще боимся показаться больными. Когда я плохо себя чувствую, то уезжаю на озеро. Совершенно один, чтобы никто не увидел моей слабости.

Мы никогда не избавимся от страха. Чем больше мы стараемся скрыть его, тем сильнее он живет в нас. Неопределенный, беспричинный страх. Из лагеря мы навсегда увезли с собой горы трупов и смрадный дым крематория. Никто из нас не решался поехать первый раз в те места, где столько выстрадано. Но, приехав туда, мы успокаиваемся. Сейчас там царит вечный мир и покой.

Многие из нас женаты. Есть дети. Мы с трудом привыкали к совершенно новой жизни. Некоторые из нас добились относительного благополучия. Но скольких радостей мы лишены! Мы не можем побегать с дочуркой, не можем поиграть в мяч с сыном. Все мы очень любим природу, но не в состоянии ухаживать за растениями, так как непригодны к физическому труду.

Я вышел из лагеря стариком, хотя мне было всего двадцать

три года. С тех пор я ни разу не танцевал, ни разу не сыграл в футбол. Езда на велосипеде изнуряла меня. Я не мог держать в руках удочку.

Год назад я еще не решался писать эту книгу. Мне было трудно рассказывать о себе. Но сейчас, пока я жив, пора писать эту исповедь. Пусть люди, особенно молодежь, знают правду и не допустят повторения ужасов прошлой войны.

Желание рассказать правду тем сильнее, чем больше нас хотят заставить молчать. Я не верю утверждениям, что наши книги не интересуют молодежь. Это послесловие я пишу под впечатлением моей выставки о лагерях в Вестерло. В течение трех дней ее посетили тысячи людей. Меня радовало, что выставку осматривали в скорбном молчании, с уважением к памяти погибших, с желанием узнать о них как можно больше. Среди посетителей была и молодежь. Приходили группы школьников с учителями. Подростки семнадцати-восемнадцати лет подолгу задерживались у стендов, задавали очень интересные вопросы.

Что бы о нас ни писали и ни говорили, мы считаем своим долгом передать живым наказ миллионов погибших. Это – наказ друзей. Наша дружба родилась в борьбе со злом. Мы страдали в концлагерях, чтобы отстоять свое право и право всех людей на земле на свободу. Современная молодежь многим обязана миллионам безвестных борцов, не покорившихся врагу.

Замалчивание зла никогда не приводило к добру.

Мы обязаны продолжать борьбу, так как зорче других видим, что сегодняшний мир играет с огнем. Если начнется новая война, она будет не менее ужасной – ведь войны становятся все ожесточеннее.

notes

Примечания

1

Мофы – презрительная кличка, которую получили немцы в Бельгии и Голландии во время оккупации.- Здесь и далее примечания переводчика.

2

Черная бригада – бельгийские фашисты, носившие черную форму.

3

«Брабанконна» – бельгийский национальный гимн.

Sales Petains – буквально «Грязные петеновки».

5

Здесь перепутаны имена: Павел и Петр. Св. Петр (значение имени Петр – «камень»), согласно библейской легенде, был основателем христианской церкви.